

СОБОР

ИРИНА ИЗМАЙЛОВА

— РОМАН —
О ПЕТЕРБУРГСКОМ
ЗОДЧЕМ



The Big Book

Ирина Измайлова

**Собор. Роман о
петербургском зодчем**

«Азбука-Аттикус»

2020

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Измайлова И. А.

Собор. Роман о петербургском зодчем / И. А. Измайлова —
«Азбука-Аттикус», 2020 — (The Big Book)

ISBN 978-5-389-18969-0

Исаакиевский собор – одно из самых удивительных зданий в мире. Его строительство растянулось на сорок лет (с 1818 по 1858 год). За это время Российскую империю потрясли бунты, стихийные бедствия и эпидемии, однако ценой многих жертв и вопреки тяжелейшим испытаниям главный Собор страны был построен и освящен. Роман Ирины Измайловой в увлекательной форме рассказывает подробную историю строительства Исаакиевского собора, а также биографию его гениального зодчего Огюста де Монферрана, чья жизнь, полная невероятных приключений, может затмить лучшие страницы книг Александра Дюма. Подобно собору из романа Кена Фоллетта «Столпы Земли», Исаакиевский собор является здесь душой всего произведения и служит своеобразным фоном для истории любви и страсти, предательства и верности, истории, в которой переплетаются судьбы многих людей. Но в первую очередь «Собор» – это роман о гении, способном преодолеть все преграды на пути к своей Божественной цели.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-18969-0

© Измайлова И. А., 2020

© Азбука-Аттикус, 2020

Содержание

Ирина Измайлова	5
Часть первая	6
I	7
II	10
III	15
IV	21
V	30
VI	36
VII	42
VIII	45
IX	56
X	60
XI	66
XII	73
XIII	79
XIV	85
Часть вторая	92
I	93
II	98
III	102
IV	109
Конец ознакомительного фрагмента.	113

Ирина Измайлова
Собор
Роман о петербургском зодчем



Серия «The Big Book»

Оформление обложки Ильи Кучмы
В издании использованы иллюстрации автора.

© И. А. Измайлова, текст, иллюстрации, 2020

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2020

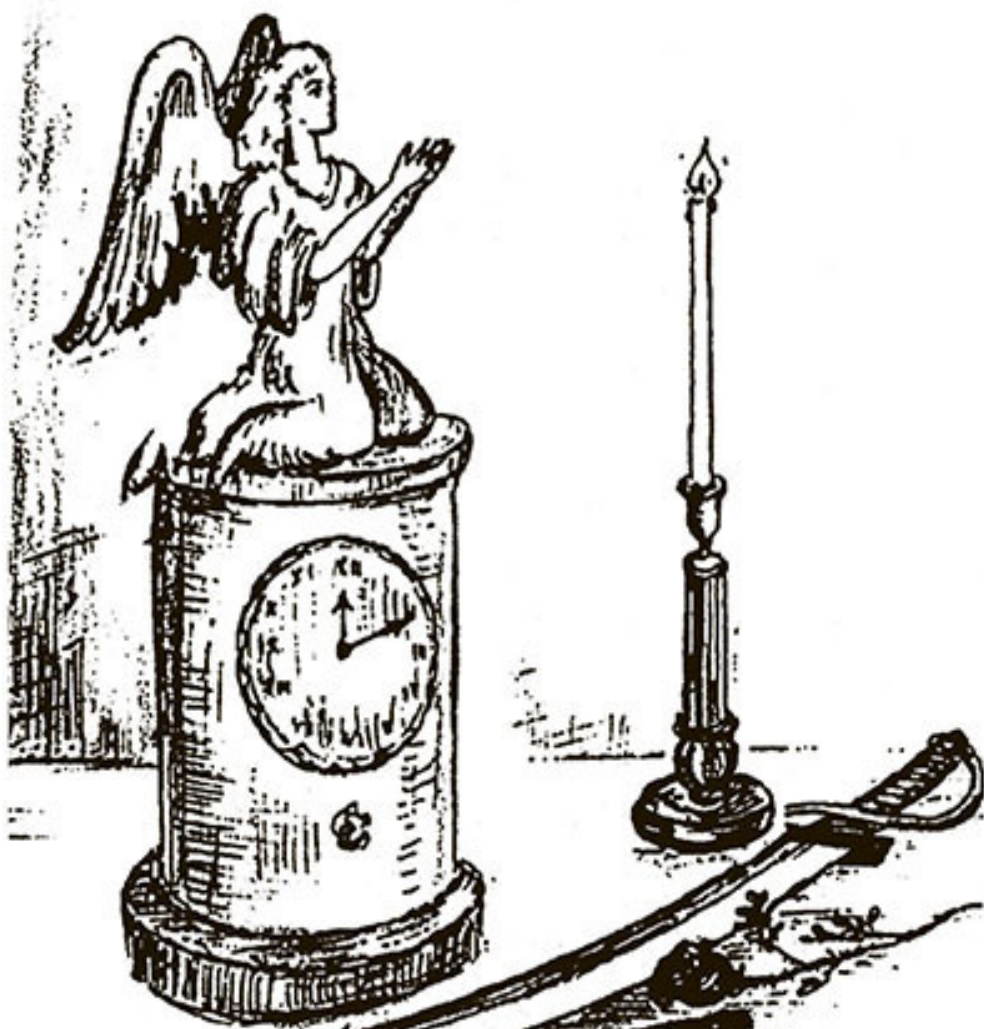
Издательство АЗБУКА®

* * *

Часть первая
Прелюдия



Часть первая
ПРЕЛЮДИЯ



I

Поступлению в госпиталь новых раненых доктор Готье не удивился.

За год с небольшим существования Неаполитанского королевства волнения и восстания происходили в нем неоднократно, и в том, по мнению доктора, ничего необыкновенного не было. Госпиталем Готье командовал не так уж долго, но до того несколько лет прослужил полковым врачом в разных войсках. Был он и в Египте в пору роковой кампании, стремительно начатой будущим императором французов, героически продолженной генералом Клебером и постыдно законченной генералом Мену, который отчаянно добивался поддержки местного населения, пойдя ради этого даже на унижение¹, но тем не менее проиграл кампанию и был изгнан из Каира и Александрии.

Был Готье и в Испании, и от нее у доктора остались самые жуткие воспоминания. Прошел он и по Пруссии, и по Италии, и он хорошо знал, что оккупантов никто и нигде не любит...

– Откуда это? – спросил доктор пожилого офицера, доставившего в Неаполь обоз с девятью ранеными.

Офицер рассказал, что три дня назад отряд повстанцев перебил роту пехотинцев в маленьком городишке, примерно в сорока лье от Неаполя, и захватил большой склад оружия, а также всякие ценности, которые как раз везли через этот городишко из столицы королевства в столицу империи. В погоню за бунтовщиками был выслан отряд гусар из 9-го Конногвардейского полка. За рекою, огибающей городок, гусары наскочили на засаду и после короткого боя были вынуждены отступить, даже не подобрав убитых. Правда, и восставшие отступили в лес, но вели оттуда сумасшедшую стрельбу, так что преследовать их значило для гусар лезть прямо под пули...

– Они тоже потеряли шестнадцать человек, но это, черт возьми, не утешение! – сердито кусая усы, проговорил офицер. – наших ребят там осталось семеро, да вот еще раненых девять, и не все, может быть, выживут...

– Вот этот выживет едва ли, – проговорил Готье, наклоняясь над носилками, с которых слышалось хрипящее дыхание раненого в грудь солдата. – Этого вы зря тащили так далеко... А этот, кажется, тоже... Тьфу ты, Господи! Совсем мальчишка!

Последними в широкий вестибюль госпиталя двое гусар втащили носилки, укрытые широким плащом. Видна была только голова раненого, как облаком окутанная светлыми крупными кудрями. Широкая повязка, наполовину потонувшая в кудрях, справа вся побурела.

– Доктор, у него бедро еще... – сказал державший носилки спереди громадный гусар. – Доктор, его обязательно спасите! Это наш сержант. Храбрый как дьявол, не смотрите, что с виду он сосунок.

– Поставьте носилки! – приказал Готье. – Не сюда, а вон туда – на скамью. Ну и что же мы увидим?

Он скинул с носилок плащ. Правое бедро раненого было обнажено и тоже обмотано окровавленными повязками. Доктор вздохнул и медленно начал снимать повязки. Ему отчего-то хотелось поскорее узнать, что же все-таки он может сделать. Помимо воли его слишком тронуло это почти детское веснушчатое лицо с курносом носом.

– Жаль, жаль, – бормотал он, разматывая повязки. – Однако рана почти на лбу, а не на виске, да, да, на лбу, это все-таки лучше... Ну а нога? О, а с ногой хуже! Рана очень опасна. Слава Богу, что догадались прижечь... Кто прижигал?

Высокий гусар пожал плечами:

¹ Известно, что генерал Мену, стремясь заручиться поддержкой египтян, принял мусульманство, соответственно пройдя обрезание, и стал носить мусульманское имя Абделла-Мену. – *Здесь и далее примечания автора.*

– Должно быть, та девчонка.

– Какая еще девчонка?

– Да была одна... Ведь, доктор, это скверно вышло. Сержанта ранило на моих глазах. И еще другие гусары видели. Он упал, и мы решили – убить. Ну и там его оставили, у реки. Мы смогли увезти только раненых, а не убитых... Но в городке, как там он называется?... Там была одна девчонка, маленькая, лет тринадцати... Она его нашла, у реки-то, и всю ночь сидела с ним. А до того он полдня один провалился! Утром девчонка поскакала за нами, ну и мы вернулись за сержантом. Представляете, сколько он вынес, доктор? Неужели умрет?

– Может быть, и нет. – Готье всматривался в рану на бедре юного гусара. – Кто знает, как она глубока?... Если он выживет, то благодаря прижиганию, не то его уже убило бы заражение: края раны начали воспаляться, воспаление еще не до конца исчезло. Но как же маленькая девочка додумалась до этого?

– Это я ее попросил, – неожиданно тихо, но внятно произнес раненый.

Его припухшие веки дернулись и поднялись. Глаза оказались не голубыми, как предполагал доктор, а утренне-синими, но сейчас их затуманивала боль.

– Девочка прижгла рану каленым железом, потому что я ей сказал... – У юноши был мягкий, довольно низкий голос. – Она решилась, потому что знала: я иначе умру... Я не умру, мсье?

– Это больше зависит от вас, чем от меня, – ответил доктор. – Если у вас крепкая плоть и если крепка ваша вера, мне, возможно, удастся вас вытащить. Как вас зовут?

– Огюст Рикар.

– Знакомое имя. – Готье наморщил лоб, припоминая. – Вы не родственник ли мсье Бенуа Рикара из Оверни? Я знал такого лет тридцать назад.

– Значит, вы знали моего отца. – Голос раненого дрогнул, он, видимо, старался подавить стон, по его лицу прошла мучительная судорога. – Отец умер пятнадцать лет назад...

– Вот как! – Доктор закончил осмотр раны и осторожно приложил к ней повязку, не наматывая бинта, чтобы вскоре сменить его новым. – Я помню этого господина, хотя сам был тогда мальчишкой. Мой отец – учитель. Жили мы по соседству с вашим отцом. У него еще было маленькое имение... Позабыл, как оно называется...

– Монферран, – совсем еле слышно проговорил раненый сержант. – Но только оно тогда уже было заложено, и отец продал его до моего рождения... Я-то родился уже в Париже, то есть под Парижем... Доктор, у меня внутри все горит! Скажите честно, я умираю?

– Нет. – Готье нахмурился. – Жар у вас сильный... Сейчас вас отнесут наверх, и я вами займусь. А вы, господа гусары, можете идти. Благодарю вас. Эй, наверху! Я долго еще буду ждать санитаров или мне тащить носилки самому?!

Гусары, внесшие раненого сержанта в госпиталь, наклонились к нему и стали прощаться, желая ему скорейшего выздоровления.

– Спасибо вам, Даре, – прошептал раненый. – Спасибо, Виктоар...

Ночью у раненого начался сильный жар. Он метался, задыхаясь, сбрасывал с себя тонкое одеяло, бормотал какие-то слова, напрягался, словно пытаясь вытолкнуть из своего тела невыносимую боль.

Под утро Готье подошел к юноше. Тот лежал, стиснув руки в кулаки, хрипло дыша. Глаза были широко открыты, зрачки в них так расширились, что они стали уже не синими, а черными.

– Умираю! – прохрипел он, глядя то ли на доктора, то ли сквозь него. – Не может быть!.. Я не должен... Мне нельзя...

– Так и не умирайте, раз вам нельзя! – сказал Готье.

– Понимаете, я его видел!.. – Рикар приподнял голову, рванулся, чтобы сесть на постели, но застонал и снова упал. – Я видел его, мсье! Но его еще нет...

– Кого?

Раненый не слышал вопроса, он говорил, захлебываясь, отчаянно напрягаясь.

– Я видел реку... широкую, цвета ртути... сильную, холодную реку! Я видел всадника в лавровом венке... а за ним, за его спиной – храм... Светлый мрамор и красные гранитные колонны...

Доктор решил, что раненый бредит.

– Сделайте ему холодные компрессы на лоб, – распорядился он, когда к койке подошел дежурный санитар. – О чем он говорит, я не понимаю... Какой храм? Какой всадник в венке? Бедняга... Я сделал все, что было в моих силах, но, если он умрет, буду себя винить!..

II

Огюст Рикар не умер. Жар и бред мучили его с неделю, затем стали проходить, и сознание раненого прояснилось.

Он настолько ослабел, что иногда у него не хватало сил поднять веки, и, приходя в себя, он подолгу лежал недвижимо, вслушиваясь в постепенно ослабевавшую боль, считая слабые удары своего сердца и пытаясь вспомнить последовательно и отчетливо, как это произошло... Он как будто помнил и не помнил...

Очень яркий солнечный вечер и крохотный городок, опутанный виноградом и хмелем.

Они въехали туда боевым маршем и, въехав, поняли, что уже не застали бунтовщиков – те успели исчезнуть, уйти к реке, что за городком, к лесу.

– Утром догоним их, – решил командир отряда, гусарский капитан Линьер. – С награбленным они далеко не утащатся, а ночью преследовать их опасно...

Отряд занял просторный дом местного виноторговца, который, как выяснилось, был французом: непомерные налоги, введенные в последнее время на торговлю вином во Франции, вынудили его три года назад уехать в Италию. Его звали Эмиль Боннер. Он, казалось, и рад был прибытию соотечественников, и перепугался, когда они, гремя шпорами, не снимая киверов, расползли по его дому. Они косились на него с презрением и издевкой: как же, сбегал к итальяшкам, и, кто его знает, быть может, был заодно с ними, с теми, кто вчера стрелял из-за каменных изгородей во французских пехотинцев?

Жил виноторговец с женой, племянником, которого по смерти его родителей усыновил, и с дочкой, тринадцатилетней Лизеттой, невысокой и тоненькой черноволосой девочкой.

Гусары опорожнили не один бочонок из запасов господина Боннера. Придя после этого в веселое расположение духа, они отправились на двор погреться на солнце, и им захотелось подурачиться.

Случай представился сам собою. В это время Лизетта, приставив к стене дома длинную деревянную лестницу, взобралась на кровлю, чтобы подвязать огромную виноградную лозу, накануне сорванную ветром. На фоне красной черепицы светлая юбка и желтый платок девочки выглядели очень живописно.

Один из гусар, подмигнув остальным, подобрался к лестнице и потихоньку убрал ее, так что девочка, справившись наконец с лозой, вдруг увидела, что ей придется или оставаться на крыше, или прыгать вниз с высоты второго этажа на посыпанную битым камнем дорожку...

Гусары, столпившись возле стены, хохотали и потешались над растерянностью бедняжки Лизетты, а тот, что убрал лестницу, раскинул руки и крикнул:

– Прыгай в мои объятия, пташка! Ты ведь легкая, что твой пух!.. Ну да, не бойся! Один поцелуй, и я тебя отпущу, – для больших забав ты пока мелковата...

– Поставь лестницу на место! – дрожащим от гнева голосом потребовала девочка.

– Ни за что! – Лихой солдат давился от смеха, поощряемый гоготом остальных. – Только через мои объятия, или спи на крыше, моя крошка!

Девочка прикусила губу, молча сделала несколько шажков в сторону, вдоль опасной крутизны черепичного карниза, и затем, пригнувшись, соскочила вниз, минуя собравшихся у стены гусар. Как ни ловко она спрыгнула, но толчок был слишком сильным, и Лизетта упала, ободрав коленки и ладони об острую щебенку. Но хуже того оказалось другое: прыгая, она зацепилась за излом черепицы и сверху донизу разорвала свою юбочку.

Гусары окружили ее и буквально оглушили своим гоготом и насмешками. Один из них не удержался и кончиком сабли пощекотал открывшуюся в прорехе худую исцарапанную ногу.

В первую минуту Лизетта стояла, опустив голову, со съехавшим набок желтым платком, кусая губы, чтобы не расплакаться от обиды, потом вдруг она посмотрела на своих обидчиков,

ее черные глаза вспыхнули, она растолкала солдат и, вырвавшись из их кольца, повернулась к ним и закричала:

– Злитесь, что вас ненавидят итальянцы, а сами издеваетесь над своими! Ах вы... Да вас все будут ненавидеть! Все!

И она кинулась было бежать, но здоровенный гусар, тот, что первым над ней подшутил, двумя прыжками настиг ее: ей мешал путавшийся в ногах разорванный подол юбки. Схватив девочку за руку, верзила страшно вытарашил глаза и воскликнул:

– Это уже не те слова, крошка, что можно себе позволять с солдатами императорской армии! Клянусь моими усами, я этого так не оставлю! Сейчас вот сорву самую крепкую лозу и отстегаю тебя по выпуклому месту, мой тощий мышонок!

Трудно сказать, собирался ли шутник осуществить свою угрозу, или ему только хотелось как следует напугать отважную девчонку, однако он и в самом деле свободной рукой ухватился за стебель одной из хозяйских лоз и рванул его так, что оборвалась привязанная к крыше веревка, та самая, которую только что привязывала маленькая Лизетта, и клубок зеленых жгутов и резных листьев упал на землю.

Солдат снова дернул, чтобы отделить один стебель от других, и тут, покрывая общий хохот, раздалась короткая суровая команда:

– Прекратить!

Сержант Огюст Рикар подошел к месту действия как раз в тот момент, когда долговязый гусар предложил хозяйской дочери прыгнуть с края крыши ему на руки, а она в ответ на это совершила свой отчаянный прыжок прямо на острые камни. Помешать ей это сделать, попросту приказав солдатам водрузить на место лестницу, сержант не успел. Все остальное разыгралось так быстро и неожиданно, что он едва не упустил момент, когда его вмешательство стало необходимым...

– Как вам не стыдно, Брель, – проговорил Рикар, когда шутник не без досады выпустил руку отчаянно отбивавшейся девочки. – Вы ведете себя просто по-скотски! И вы все, господа!.. Разве можно обижать ребенка?

– Позвольте заметить, сержант... а вы слышали, что она сейчас нам сказала? – запальчиво воскликнул один из приятелей долговязого Бреля.

– К сожалению, она сказала правду, – совершенно спокойно заметил Огюст. – И если вам не стало стыдно, то вам не дорога честь французской армии. Надо бы рассказать о вашей выходке капитану, но я надеюсь, второй такой не будет...

Солдаты пристыженно молчали. Рикара уважали в полку. Ему исполнился двадцать один год, но он выглядел по крайней мере года на три моложе, и некоторые из старших гусар немного подшучивали за его спиной над его безусым веснушчатым лицом и мальчишески вздернутым носом. Но никто и никогда не осмелился бы подшутить над ним в открытую – все помнили, что в походной сумке Рикара лежит коробка с двумя великолепными пистолетами, подаренными ему после одного боя самим генералом Шенье, и что надпись на коробке начинается со слов: «Огюсту Рикару, лучшему стрелку 9-го Конногвардейского полка...» Кроме того, в бою этот юноша, такой невысокий и невзрачный, проявлял иной раз героическую храбрость, и старые вояки только молча удивлялись и восхищались.

Пожимая плечами, подвыпившие гусары стали медленно расходиться со двора. Одним из первых поспешил уйти Брель, однако Огюст остановил его:

– Стойте, мсье! Куда вы? А кто привяжет на место лозы, которые вы сорвали? Извольте поставить лестницу, подняться на нее и закрепить веревку. Вы поняли? И еще я вас прошу извиниться перед этой девочкой. Вы оскорбили ее.

– Дочь негодяя-эмигранта!.. – вырвалось у гусара.

– Француженку, Брель, француженку! А чья она дочь, значения не имеет. Впрочем, будь она итальянкой, ваша вина не была бы намного меньше, разве только оттого, что итальянка

не поняла бы ваших оскорблений. Ну! Я не слышу извинения. Или заставить вас извиняться в присутствии капитана, а?

– Извините, мадемуазель! – выдавил гусар, мучительно краснея и отворачиваясь. – Черт возьми, я собирался только слегка пошутить... И не начини вы кусаться...

– Укусить тебя я просто не успела! – выпалила Лизетта, которая все это время стояла, шмыгая носом и зажимая в кулачке края разорванной юбки. – Если бы я укусила тебя, дурак ты эдакий, ты бы сейчас орал на весь двор!

И с этими словами девочка, повернувшись, пошла прочь, чуть-чуть прихрамывая из-за разбитой коленки, но все-таки гордо и надменно, будто принцесса.

– Какова! – вырвалось у Бреля. – Сушая бестия! Осмелюсь заметить, мсье сержант, она вас даже и не поблагодарила...

– Привязывайте лозу, Брель, – усмехнулся Огюст. – Право, это лучшее, что вы можете теперь сделать.

Уже поздним вечером, когда все солдаты улеглись спать, Рикар один вышел во двор, чтобы при свете луны отдохнуть и собраться с мыслями, а мысли его были сумбурны, и на душе у него было тяжело.

Он сидел на деревянной скамье, за день нагретой солнцем, и вспоминал. Ему вспоминалось, как три года назад он проезжал через этот же городок, направляясь в Неаполь, но только не в мундире и кивере, а в обыкновенном дорожном сюртучке, с поношенной походной сумкой; а в ней лежали две чистейшие сорочки, пара шелковых шейных платков, походный несессер и пухлый альбом с рисунками, тогда еще на две трети чистый. Огюст открывал его на каждой остановке. И ему в то время не было дела до Бонапарта, как раз в тот год провозгласившего себя императором, не было дела до будущих боевых походов... Он думал о том единственном, ради чего он сюда приехал, ради чего он жил. Разве мог Наполеон при всей его славе сравниться со спящими в строгом совершенстве развалинами Колизея или молчаливым Дворцом дождей, которые уверенная рука юного Рикара уже зарисовала на страницах альбома? Куда уж было Наполеону до еще неведомых, незнакомых чудес и шедевров древних итальянских городов, которые Огюст мечтал увидеть, зарисовать, от которых ждал вдохновения, в которых искал источник собственных будущих творений. Архитектура! Хрупкое, могущественное, загадочное слово, мудрое, как камни старинных стен, оплетенное, точно картина трещинками, нитями истории всего человечества...

И вот снова Италия, виноградный городишко среди гор, в зеленой чаще леса. Но теперь все иное, теперь он, Огюст, враг этой страны, ее завоеватель, и она ненавидит его...

Кто-то почти бесшумно подошел к нему, коснулся края скамьи. Он почувствовал возле себя какое-то движение, вздрогнул, рука метнулась к эфесу сабли, в то время как сознание уже одернуло: «Фу, трус! Как тебе не стыдно!»

Он обернулся. Возле скамьи стояла Лизетта Боннер.

– Ты почему не спишь? – спросил ее Огюст.

– Я никогда рано не засыпаю...

Ее голос показался Огюсту старше самой девочки. Она выглядела почти ребенком, маленькая, с овальным нежным личиком, с большими черными глазами, то ли овальными, то ли миндалевидными, с пухлыми губами и абрикосовым румянцем на щеках. А голос был как будто сорван, на высоких нотах немного звенел, на низких садился почти до шепота.

Она сбоку пристально смотрела на сержанта, и тому сделалось вдруг неловко от ее взгляда.

– Садись, – проговорил он, указывая на скамью, и не удивился, когда она со смелостью, видимо ей свойственной, сразу же села с ним рядом, правда, почти на кончик скамьи.

– Чего ты хочешь? – проговорил Огюст, пытаясь скрыть смущение.

– Мсье, – серьезно сказала девочка, – я вас не поблагодарила... Спасибо, мсье!

– Да полно тебе! – усмехнулся сержант. – Забудь об этом и не принимай этого всерьез. Прости наших солдат. Завтра у нас бой. Их могут убить. А убивают тебя, сама понимаешь, не каждый день. Меня тоже могут убить...

Она содрогнулась. В ее глазах появился ужас. Но она тут же мотнула головой:

– Вас не убьют!

– Почему ты думаешь?

– Я стану за вас молиться. Я буду молиться целый день, пока вы не вернетесь... Бог всегда слушает молитвы детей. Вас не убьют!

Рикар улыбнулся. Ее слова пробудили в нем теплую утешительную надежду.

– Спасибо тебе, девочка. Ты очень добра.

Ночь была теплой и не душной. Ему запомнился легчайший ветерок, иногда скользивший, будто в задумчивости, по его лицу, ласкавший его кудри. (Свой кивер он положил на скамью.) В синей-синей мгле, среди крупных, как вишни, звезд, пели свой возвышенный и простой гимн ночи цикады.

Девочка осторожно тронула кончиками пальцев руку сержанта и неожиданно представилась:

– Меня зовут Элиза. Элиза Виргиния Вероника Боннер. А вас?

Он рассмеялся:

– О, мадемуазель! Сто тысяч извинений – надо же было дожидаться, пока дама назовет себя первой. Анри Луи Огюст Леже Рикар, честь имею!

На лице Элизы появилась застенчивая улыбка, и Огюст подумал, что, пожалуй, девочка очень мила, хотя ее никак нельзя назвать красивой.

– Анри, да? – переспросила она.

– Нет, – он покачал головой, – Огюст. Видишь ли, зовут-то обычно первым именем, данным при крещении, но у меня по-другому. Старший из Рикаров, брат моего отца, погиб во время египетского похода, и меня стали называть в его честь Огюстом. И вот только матушка так и звала меня всегда Анри. Но она тоже умерла...

– Да упокоит Господь Бог ее душу и душу вашего отца! – Элиза перекрестилась. – А теперь я буду называть вас Анри... Вам это имя очень идет. Можно мне?

Сержант опять засмеялся:

– Ты выдумщица, а? Идет имя... Ну, может быть. Зови, как хочешь, я не возражаю.

Почему-то ее наивные слова не раздражали его, не казались пустой болтовней. Ему хотелось говорить с нею, ведь он давно ни с кем не говорил по-настоящему. И он рассказал ей за несколько минут все или почти все, о чем сейчас думал. О том, что эта злосчастная война перевернула всю его жизнь, что его призвали в армию с начального курса Специальной архитектурной школы, куда ему, едва ли не нищему парижанину, с большим трудом удалось поступить, да еще вопреки воле своего дядюшки, упряма Роже Рикара, служившего адвокатом и не желавшего видеть племянника не кем иным, кроме как тоже адвокатом либо судьей, и презиравшего «рисование домиков».

Лизетта слушала внимательно, но, когда Огюст произнес слово «архитектура», смущенно перебила его:

– Архи... Как вы сказали? Что это такое?

Такое вопиющее невежество его не покорило. Он объяснил ей, рассказал об архитектуре так, как рассказывают только о заветной мечте. И она улыбнулась:

– Вы станете ар-хи-тек-то-ром. Я это вижу! Нет, не смейтесь, я всегда все вижу заранее. Вот когда болела моя матушка, это было три года назад... я сразу вдруг поняла, что она умрет. А ведь никто так не думал, ни доктор, ни священник. Но она умерла.

– Значит, жена мсье Боннера не матушка тебе? – спросил удивленно Огюст.

– Нет. Она мне мачеха.

– Значит, и ты сирота... – Он вздохнул. – Но что же поделаешь? Итак, ты думаешь, я смогу выучиться? А война как же? Когда еще мне удастся снять этот проклятый мундир! Вот Тони, тот выкрутился. А меня призвали после двух месяцев учебы!

– А кто такой Тони?

– Антуан Модюи. Мой лучший друг, и единственный, пожалуй. Тоже будущий архитектор и, знала бы ты, какой талантливый! Когда-то я от него и заразился этой страстью... Но ему было чем откупиться от военной службы, а мне нет.

Лизетта удивленно подняла брови:

– Он богат? Тогда почему же и вам не дал денег?

Это прямое и бескомпромиссное понимание дружбы слегка рассмешило Рикара. Но он ответил без улыбки:

– Богат, девочка, не он, а его отец. Тони – сын одного пройдохи-буржуа. Его папаша и с деньгами, и со связями. Но меня любит. Ему льстит дружба сына с дворянином – он сноб.

Элиза опустила голову и спросила отчего-то тихо и подавленно:

– Вы – дворянин, да?

– Да. А что в том плохого?

– Нет, что вы, ничего! – Она резко вскинула голову. – Просто я с дворянами еще никогда не разговаривала...

Они помолчали, слушая цикад и все больше проникаясь грустью их песнопения.

Наконец Огюст снова посмотрел на девочку и вдруг ласково взял ее маленькую руку с немного огрубевшей ладонью.

– Иди-ка спать, мадемуазель Элиза-Виргиния-Вероника! У тебя, я думаю, много работы в доме, раз ты живешь с мачехой... И у меня завтра бой. Если меня в нем не убьют, я сюда еще вернусь, наверное.

И опять его поразил недетский, серьезный, почти мудрый взгляд черных Элизиных глаз.

– Вас не убьют, – сказала она. – Я буду молиться. И я знаю: вас не убьют...

III

Что было потом? Что же было потом? Омерзительный запах пороха, грохот, лязг сабель и взвизгивание пуль. Пушечный выстрел, неожиданно грянувший из-за реки... И второй, последний...

Огюст очнулся, когда было уже за полдень...

Открыл глаза, и огненный меч тут же пронзил их, и мозг запылал от нечеловеческой боли...

Сквозь густо-красный туман проступили очертания поляны, речной берег, узкая полоска блестящей на солнце воды... Вокруг – трупы людей и лошадей, мелькание черных теней – это вороны слетались к богатой добыче.

Юноша хотел приподняться и не смог, не сумел оторвать налитый свинцом затылок от земли. Но не только голова его была наполнена болью, боль поднималась снизу, от правого бедра, проникала в живот, вызывая судороги и приступ тошноты, затем пронзала грудь.

«Умираю!» – подумал Огюст, и его охватил ужас.

Он заставил себя напрячься, прогнать дурноту и хотя бы чуть-чуть привстать, чтобы ощупать рукою голову и бедро. Он нашел раны, ощутил, как они кровоточат – кровь потекла по его пальцам, наполняя рукав мундира...

Как ему удалось перевязать платком голову, он потом не мог вспомнить. До бедра он не дотянулся обеими руками – было слишком больно приподыматься, и он каждый раз терял сознание. Пришлось просто прижать к ране обрывок рубашки и придавить сверху найденным рядом камнем. Это, конечно, не остановило кровотечения.

И все-таки настоящие муки ада были впереди. Он умирал от жажды, и вода была от него в пятнадцати шагах, но он не мог подползти к ней – ему даже не удалось со спины перевернуться на живот. А солнце поднялось еще выше, стало палить еще страшнее. Сержант задыхался, ему стало казаться, что тело его наполняет жидкий огонь.

Потом он вспомнил вдруг, вернее, даже не вспомнил, а увидел двухэтажный домик в Шайо, сползавшую вниз с холма дорогу, а внизу – Париж, которым он любовался из окна домика, когда был маленьким... Увидел свою тетюшку Жозефину с вышиванием на коленях, милую Жозефину, поправляющую очки, ее быстрые ласковые пальцы с иглой, мелькающей подобно маленькой молнии, и ворох цветных ниток на старом мраморном столике... В комнате Жозефины горели две свечи в серебряном подсвечнике – одном из последних сокровищ рода Рикаров, в графине синего стекла мерцало вино (тетя Жозефина иногда выпивала на ночь глоток, но делала это редко, и графин неделями оставался наполнен на две трети, потом на одну треть и пустел не скоро). Постукивая тростью, в маленькую комнатку часто заходил дядюшка Роже, грозный Роже Рикар, сухой и подчеркнуто надменный, и если заставлял у тети маленького Огюста, и если время было после девяти вечера, беспощадно выгонял его, отправляя спать, и если Огюст робко сопротивлялся, мог дать и затрещину. Мальчик не позволял себе заплакать в комнате, только на лестнице, но в свою комнату он входил с сухими глазами, чтобы ничего не заметила мать... Она боялась Роже и никогда не бранилась с ним, но за сына могла бы вступить, а Огюсту не хотелось, чтобы они ссорились, его мать и брат его отца. Да и подзатыльники дядюшки Роже были не слишком сильны, только жаль бывало в таких случаях сказки, которую не успевала досказать Жозефина, а на другой день она, как правило, безнадежно забывала начатое...

Опять ничего не было, только боль и ужас. Он сознавал, что никто ему не поможет – гусары сочли его мертвым, уехали, бросив его здесь вместе с убитыми. И едва ли они скоро вернуться, если вернуться вообще. От этой мысли он потерял власть над собой и малодушно заплакал. И тут рука его, судорожно ползая по мундиру, нащупала на левом боку пистолет...

Мелькнула страшная и соблазнительная мысль: «Один только миг, одно, правда нелегкое, усилие, и пытка прекратится...» И тут же другая мысль: «Какой грех! Как можно даже думать?.. И я не хочу, не хочу!»

Его пальцы разжались. Он отдернул руку от полированной деревянной рукоятки. Снова повернул голову, в отчаянии посмотрел на сверкающую множеством искр реку.

Ему показалось в это время, что в сознании произошло некое раздвоение, будто кто-то из глубины его существа заговорил с ним. Потом даже показалось, что он слышит какой-то голос, но только исходящий не извне, а из его души. Впрочем, он когда-то слышал, что с тяжелобольными и умирающими такое случается...

Этот внутренний голос говорил сначала тихо и невнятно, потом вдруг стал слышнее и зазвучал повелительно.

– Ты не должен слабеть! – твердил голос. – Слышишь, ты не должен слабеть, или ты умрешь! А умереть тебе нельзя...

– Я и сам не хочу! – прошептал он, будто поверив, что кто-то с ним разговаривает. – Но как быть? Кажется, все кончено...

– Нет, тебе нельзя умирать! – упрямо повторил голос. – Ты же хочешь стать архитектором. А разве ты станешь им, если сейчас умрешь? Ты тогда никем уже не станешь, разве это тебе не ясно?

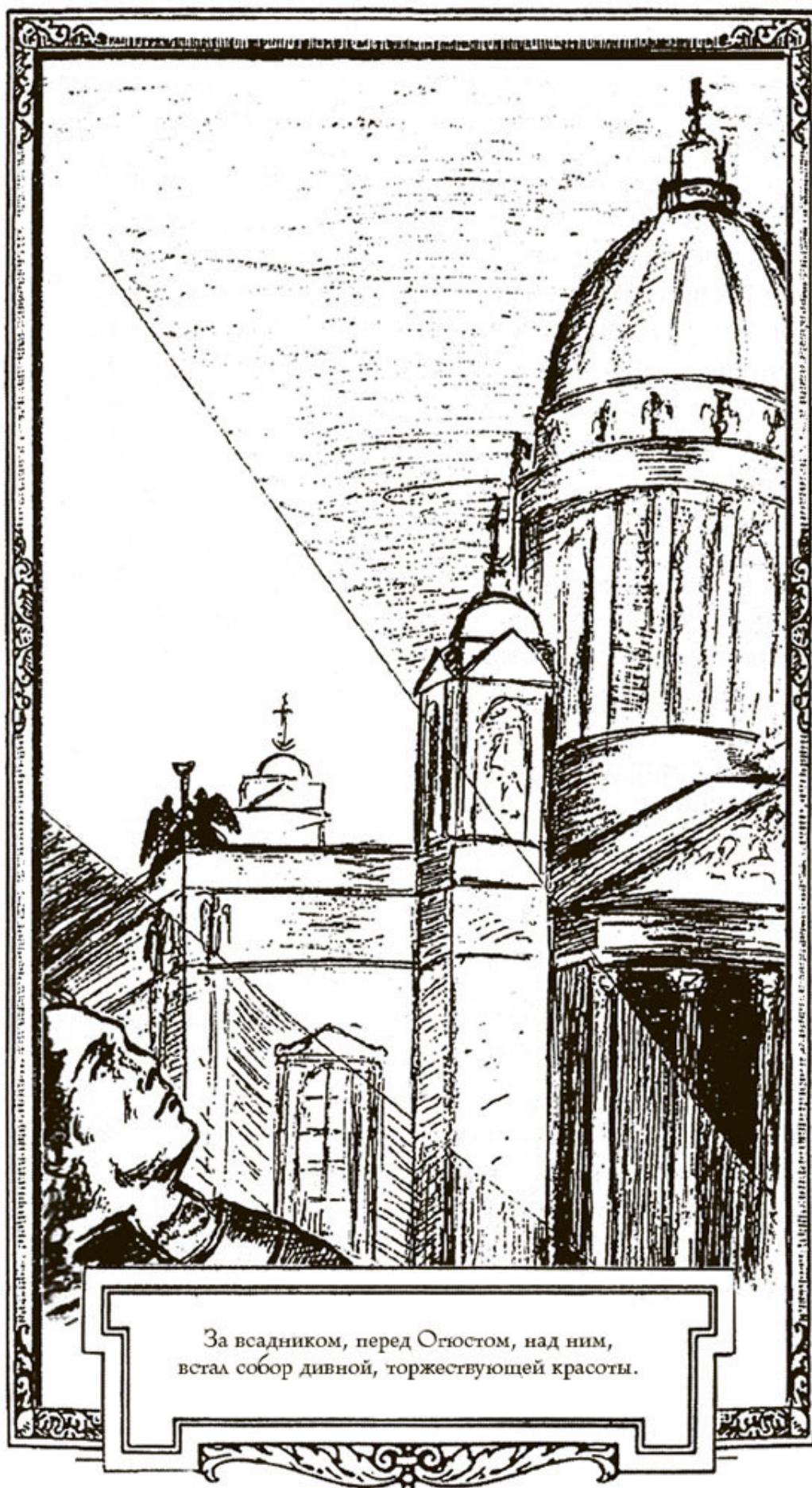
– Послушай... – Раненый закрыл глаза, думая, что тогда и увидит незримого собеседника, но перед его закрытыми глазами плясали только разноцветные пятна. – Послушай... Может, ты сам дьявол? К чему ты меня искушаешь?.. Спаси меня, если это в твоей власти! А самому мне не спастись!

Голос вроде бы умолк, вроде бы все кончилось.

Сознание раненого тут же заволокло туманом. Он уже не видел ничего из того, что было вокруг, но увидел совсем иную картину. Перед ним снова оказалась река, но такая широкая и могучая, какой он никогда прежде не видел. Серебряно-холодная, ровная, как морской залив в тихую погоду, она лилась, переливалась, текла в первобытной, дикой красоте, к будущей бесспорной и юной силе.

Огюст увидел всадника, осадившего коня резко и круто, прямо на берегу. Конь высоко занес передние копыта, а всадник, запрокинув гордую голову, обвитую лавровым венком победителя, бесстрашно вперил взгляд во что-то далекое, а правая его рука простерлась к этому далекому, направляя туда бег коня, но левая рука еще покоилась на поводьях, медля давать коню простор для бега...

За всадником, перед Огюстом, над ним, встал собор дивной, торжествующей красоты. Пятиглавый, осененный полыхающим золотом куполов, он был одновременно громаден и легок, словно не стоял, а парил над землею. Геометрическая точность и строгость его линий сочетались со странной неправильностью пропорций, но в этой неправильности было дерзновенное совершенство, какое выступает в чистом блеске кристалла, отшлифованного самой природой, находящей и в асимметрии гениально простую красоту.



И все исчезло. Вернулась реальность. Отчаянно палило послеполуденное итальянское солнце, воздух застыл густым настоем, смешавшим запахи цветов, крови, солнца...

– Господи всемилостивый, сжался надо мною! – прошептал Огюст, пытаясь облизать опухшие губы и чувствуя, что язык его сух и горяч. – Что же это такое?! Я не хочу! Если бы хоть кто-нибудь пришел на помощь!.. Может быть, еще не поздно... Кто-то говорил, что я не умру!.. Ангел? Да есть ли они? Элиза! Маленькая Элиза... Ты обещала молиться... Вспомни же обо мне сейчас, помолись за меня, спаси меня своей наивной детской молитвой, потому что больше никто меня не спасет!

Он попытался и сам прочитать молитву, но не смог, мысли путались, слова молитв все вылетели из головы...

Прошло еще некоторое время, солнце стало склоняться к вечеру, но жар не спадал, а как будто еще усилился. Но Огюст не хотел захода солнца, он понимал, что вместе с закатом угаснет и его жизнь. Несколько раз сознание его покидало, но страх умереть в беспамятстве заставлял его каждый раз очнуться.

Во время одного из таких обмороков ему померещился стук копыт. Он очнулся и напряг слух. Да, как будто лошадь... Что делать? Крикнуть? А если это возвращается за брошенным оружием кто-то из повстанцев? Добьет? О, пускай добивает, что уж там... А может быть, пожалеет? Пустая надежда! Но возможно, это свой... Надо крикнуть. А как? В груди нет воздуха, во рту, как в печи, все горит.

Сознание раненого снова стало мутиться. И тут в стороне, но очень близко, разбивая беспамятство и боль, прозвенел голос:

– Анри!

И снова, еще ближе, отчаянно и горестно:

– Анри!

Он широко открыл глаза и рывком приподнял голову. Шагах в двадцати от него, гарцуя и испуганно фыркая от запаха крови, топталась рыжая худая лошадь. На ней, без седла, верхом, как мужчина, левой рукой сжав поводья, а правой прикрывая от солнца глаза, сидела Лизетта...

– Я здесь! – не крикнул, а прошептал Огюст, и голова его снова упала.

Но Элиза услышала этот короткий слабый стон. Она вскрикнула, резко послала лошадь вперед, затем стремительно осадилась и не соскочила, а слетела с лошади и метнулась к лежащему, заливаясь слезами, хрипло твердя:

– Жив, жив, я это знала, я же знала!..

Она потом рассказала ему, как его нашла. Отступившие гусары вернулись в покинутый утром городок, чтобы там сделать передышку и затем, следующим утром, двинуться назад, в Неаполь. В дом виноторговца они вступили угрюмые и злые, так что хозяин и его семья попрятались по углам, спасаясь от их ярости, видя, что они потерпели поражение. И только Лизетта бросилась навстречу солдатам, еще вчера обижавшим ее, и стала их спрашивать: «А где же мсье Анри?» Никто сразу не понял, о ком она говорит, никто не знал, что Огюста Рикара зовут еще и Анри. Наконец кто-то догадался и ответил девочке, что сержант Рикар убит, что несколько человек видели, как он свалился с седла мертвым, и что ей следует помолиться о его душе...

– Нет, – коротко и твердо сказала тогда Элиза и метнулась в глубину двора, к конюшне, а минуту спустя ее отец, уже выскочив на середину узенькой улочки, в рубашке и полосатых чулках с синими подвязками, орал на весь городишко, позабыв о солдатах, которые в это время вовсю над ним гоготали.

– Эй, Лизетта, чертова девка, вернись! – вопил он. – Вернись, куда ты?! Шею свернешь, а то на бандитов нарвешься!!! Что соседи станут говорить о нас, дура ты этакая!!! Вернись, отдай мою лошадь!!!

Больше она ничего не расслышала, да и не слушала. Перед тем гусары рассказали ей, где произошел бой, она знала туда дорогу... И вот приехала.

Но рассказала она все это позже. А сначала набрала воды в чью-то потерянную флягу, напоила раненого, потом еще принесла воды, промыла его раны, перевязала их, разорвав на полосы свою нижнюю юбочку.

– Я сейчас приведу сюда лошадь, – торопливо говорила она, – заставлю ее встать на колени, она меня слушается, вы не думайте... А потом я вас подниму ей на спину, только придется потерпеть... вы сидя не удержитесь, я вас уложу поперек седла и голову вам буду поддерживать. И довезу вас. Пускай и ночью... Я помню дорогу, найду и в темноте.

Но стало смеркаться, в потемневших зарослях, на том берегу реки, послышался унылый волчий вой, и худая лошадка, дико заржав, рванулась, вырвала из земли пенек, к которому ее наспех привязала девочка, и умчалась прочь.

Раненый сержант и его маленькая спасительница остались вдвоем среди мертвых.

Ночь он помнил очень смутно.

У него, слава Богу, нашлось огниво, и Элиза, покуда не стемнело совсем, набрала сучьев и развела костер. Пламя очертило на земле магический оранжевый круг, в котором они оказались заперты, отгорожены от призраков ночи...

В эту ночь не пели цикады, не ластился ароматный ветерок. Из темноты слышались визг и тывканье лисиц, рычание волков, дравшихся над трупами, унылое уханье сов. Тусклые тени мелькали на грани тьмы и света, растворялись во тьме, и оттуда порой вспыхивали голодные глаза, и какая-то ночная тварь поднимала вой, учуяв свежую кровь.

– Тени Тартара вышли на поверхность, – прошептал Огюст, всматриваясь и вновь от боли закрывая глаза. – Ламии и эмпусы² рыщут во тьме в поисках жертв.

– О чем вы, Анри? – дрожащим голосом спросила его Элиза. – Кто такие Тартары, ламии и эти... эм-пу-сы?

Он сумел улыбнуться, не открывая глаз.

– Я потом расскажу... это то ли сказка, то ли правда... Ну да... У эмпусы женское тело и ослиные ноги. И злые кровожадные глаза... Но ты не бойся! Не бойся, они не прикоснутся к нам: рядом со мной лежит пистолет, и у меня еще хватит сил спустить курок. Да и нет теперь никаких эмпус и ламий: они давно передохли в своем Тартаре, а это просто лисы тывкают у реки...

– И волки! – Элиза сунула в костер еще несколько веток, и Огюст, открыв глаза, увидел в пляшущем свете ее бледное напряженное личико. – Анри, вы как? Вам очень больно?

– Не очень, – солгал он, но снова улыбнуться уже не сумел. – Если бы ты не пригласила рану, было бы хуже...

Он и сам не понимал, как у нее хватило на это отваги. Когда он ей сказал, что от заражения его может спасти только каленое железо, она вскрикнула и так задрожала, что платок упал с ее головы. Но потом опять взглянула на его бедро (саблей она распоролла сбоку его шаровары, и стало видно, что рана воспалилась), и сомнения ее исчезли. Она сунула в костер его саблю, дождалась, пока сталь нальется и засветится багровым огнем, затем, как он ей велел, уселась ему на ноги, придавив их к земле, и, задыхаясь, прижала к ране раскаленную сталь. Раненый перед этим заткнул себе рот кулаком, и его страшный мучительный стон вырвался из груди лишь глухим хрипением.

За ночь он много раз терял сознание. Приходя в себя, старался успокоить и даже развеселить девочку, рассказывал ей что-нибудь интересное, отвлекал ее от снующих вокруг ночных кошмаров. При всей своей беспомощности, он чувствовал себя рядом с Лизеттой мужчиной, ее защитником, и ему было стыдно показывать ей свой страх и слабость.

² Ламии и эмпусы – чудовища древнегреческой мифологии.

Потом он опять, кажется, бредил, а очнувшись, вдруг вспомнил о своем видении, о храме на берегу странной стремительной реки, и решил рассказать о нем Элизе.

– Теперь я не помню, какой он, – шептал Огюст, все так же крепко держа девочку за руку. – Помню только блеск куполов, гранит и светлый мрамор... Ах, если бы ты знала, сколько в этом величия и красоты! Если я выживу, я научусь строить и снова вспомню этот образ, сделаю рисунки, потом чертежи и выстрою его! Понимаешь, а? Еще не знаю, в честь какого святого я его воздвигну, этого мы, архитекторы, не выбираем, строим, что велят... но только посвящен он будет еще и тебе, Лизетта!

– Правда? – Щеки девочки вдруг загорелись, она как-то сразу засветилась, и дрожащее пламя костра так и запрыгало в ее зрачках. – Мне?

– Тебе. Ведь ты же меня спасла. А я должен быть архитектором.

– Вы будете! – воскликнула Элиза, зажмуриваясь, будто что-то увидала перед собой. – Вы постройте свой храм, я это знаю точно, Анри! Ах, какой он будет красивый!.. Я его как будто бы вижу...

Он говорил ей еще что-то до утра, но что? Иногда слова его опять делались бредом, но он уже не метался в горячке, у него откуда-то явились силы, он поверил, что будет жить.

Солдаты приехали за ним в полдень: Элиза догнала их уже на дороге, ведущей в Неаполь.

Он запомнил серьезные лица своих гусар, взгляды, исполненные огромного уважения, которые солдаты обращали на Лизетту.

Когда из городка прислали телегу и солдаты осторожно подняли на нее сержанта, он посмотрел вверх, увидел над собою качающиеся ветви какого-то куста с огненно-красными цветами, сорвал один цветок и протянул его стоящей возле телеги Элизе.

– Мадемуазель! – Голос его был слаб и срывался, но он опять сумел улыбнуться. – Мадемуазель, вы спасли мне жизнь... Клянусь вам, я никогда не забуду этого, и я обязательно разыщу вас, разумеется, если выживу... Прощайте же и, если можно, позвольте мне поцеловать вашу руку...

– Не надо руку! – сказала она.

И с решимостью, какая иногда появляется в душе ребенка, вдруг склонилась к нему и поцеловала его в лоб, пониже окровавленной повязки, прямо в тонкий надлом брови.

– До свидания, Анри!

– Ишь ты! – воскликнул один из гусар, но, взглянув в лицо девочке, осекся.

Минуту спустя телега тронулась и в тот же вечер догнала обоз с другими ранеными, которых везли в Неаполь после столь неудачной вылазки против повстанцев.

IV

Лишь спустя три месяца, в середине октября, Огюст покинул госпиталь. Доктор Готье сказал ему, что головные боли, наверное, скоро пройдут, но с ногой дело обстоит несколько сложнее...

– Ходите побольше, хотя бы по комнате, – сказал Готье. – Ходите побольше, и понемногу нога разработается. Через несколько месяцев станет лучше. Хромать вы, возможно, будете... Но не отчаивайтесь, сержант: после ваших ранений остаться всего лишь хромым – счастье.

И вот с таким напутствием Огюст Рикар отправился в нелегкое путешествие из Неаполя в Париж. Ноша его была невелика: полупустая походная сумка, но передвигаться он мог только с помощью костыля. В почтовых каретах немилосердно трясло – дороги из-за осенних дождей были ужасны, и у раненого начались жестокие приступы лихорадки и головной боли. Однако, несмотря на все мучения, Огюст не сделал по дороге ни одной остановки: во-первых, денег у него было совсем немного, во-вторых, ему смертельно хотелось домой...

К концу дороги он был совершенно разбит. Последнее длинное путешествие от Лиона до Парижа едва не dokonало его, во всяком случае, когда попутчики юного сержанта вынесли его из кареты, он был в жестоком жару. Из чувства сострадания пассажиры дилижанса поместили раненого в дешевом трактире, ибо никто не знал, куда и к кому он едет. Трактирщица, с жалостью глядя на покрытое потом лицо юноши, сказала:

– Бедняжка! Совсем ведь мальчик... Не умер бы...

Ночью у Огюста вновь была лихорадка и бред, и добрая трактирщица собиралась утром позвать к нему врача, но на рассвете жар прошел, юноша очнулся и, выпив стакан крепкого шабли, нашел в себе силы встать с постели. Он расплатился с трактирщицей последними грошами, что еще оставались в его кошельке, и отправился в Шайо, до которого было, по счастью, недалеко от трактира. Правда, подняться на холм ему оказалось не под силу, и его подвез на своей телеге ехавший с рынка мельник, давний его знакомый.

Тетушка Жозефина, увидев своего племянника с костылем, исхудавшего и смертельно бледного, подняла крик и едва не упала в обморок, но потом, уразумев наконец, что Огюсту нужны не изъявления чувств, а плотный обед и горячая ванна, принялась за ним ухаживать, и первый день его под родным кровом оказался безмятежно счастливым. Вечером пришли тетушка Лаура с дядюшкой Бернаром; они тоже принялись охоть и ахать и потребовали от племянника военных рассказов, но Жозефина заслонила его грудью и сказала, что мальчику сейчас необходимы отдых и сон, а не досужая болтовня.

Однако утром следующего дня явился дядюшка Роже, и безоблачное настроение Огюста сразу было омрачено.

Старый адвокат был человеком решительным и после первых же объятий сразу приступил к делу.

– Раз ты отвоевался, племянник, – заявил он, – так надо тебе теперь по-настоящему устраиваться в жизни. Твое увлечение «домиками» мне никогда не нравилось, но теперь ты и сам понимаешь, что с ним надо покончить. Война идет уже черт знает сколько времени, когда она закончится, неизвестно, и Франция уже разорена настолько, что ей в ближайшее время будет не отдышаться. Строить будут очень мало... Так что оставь наконец свою архитектурную школу, то есть просто не возвращайся туда. Я уже договорился с добрым моим знакомым мсье Руссе, у которого, слава Богу, своя вполне процветающая нотариальная контора, чтобы он тебя взял к себе, пока что письмоводителем. Но у тебя неплохо работает голова, думаю, года через три-четыре ты сможешь стать помощником старика Руссе, подучишься и вскоре сам будешь нотариусом либо судьей. Пора наконец показать, что мы, Рикары, род дворянский и наши наследники чем попало не занимаются... Самое почетное в наше время ремесло – юриспруденция!

В этом убеждении дядюшка Роже был непоколебим, и никакие доводы племянника не могли его разубедить. Он мечтал видеть Огюста именно своим наследником. Поняв, что спорить бесполезно, Огюст просто заявил дяде, что ни к какому мсье Руссе не пойдет, а, поправившись месяц-другой, продолжит свои занятия в архитектурной школе.

– Что там будет потом, мы еще увидим, дядя, – резонно заметил он. – А из меня выйдет такой же нотариус, какой из осла исповедник.

Мсье Рикар-старший рассердился и вспылал. Дело дошло до ссоры, в разгар которой Роже, как всегда совершенно перестав себя сдерживать, обругал племянника упрямым осто-лопом и непрактичным фантазером, а затем, вскипев, закричал:

– Если ты не желаешь уважать моей воли, мальчишка, то и ступай вон из моего дома!

Огюст, у которого гордости было не меньше, чем у всех Рикаров, вместе взятых, подавил свою ярость и ответил надменно:

– Мсье, этот дом не только ваш. Вместе с вами им владели мой отец и моя мать, а мой отец, смею вам напомнить, был вашим старшим братом... Но ваш приказ для меня закон. Только имейте в виду: мне уже не пятнадцать лет, и я не позволю, как то было однажды, про-гнать меня, а потом великодушно простить и позвать обратно. Я уйду совсем и больше сюда не вернусь!

И он действительно ушел, несмотря на свою слабость, несмотря на слезы и уговоры бед-ной Жозефины, уверявшей его, что гнев дяди мигом пройдет, и он сам будет очень жалеть о ссоре, и его удастся легко убедить, что племянник прав и волен учиться там, где ему нравится. В душе Огюста вдруг поднялась истинная буря, ему припомнились все многочисленные обиды, нанесенные за много лет ему и его матери, и он сознательно первым пошел на этот разрыв: Жозефине удалось только уговорить его (и без особого труда, потому что он был совершенно нищ) взять у нее в долг пятьдесят франков в шелковом стареньком кошельке, и с этим кошель-ком, со своим костылем и со своей решимостью он бесстрашно переступил порог родного дома.

В тот же день он снял себе комнату на правом берегу Сены, на втором этаже маленького двухэтажного дома, крытого красной черепицей. По этой высокой черепичной крыше зачем-то тянулась наискосок узенькая лестница, огибающая конек и спускающаяся по длинному скату к более плоской крыше пристройки. Лестница была сооружена из той же черепицы, только изго-товленной и уложенной не так, как обыкновенная, и сразу заметить ее было нелегко. Огюст, разглядывая дом, долго ломал себе голову над тем, кому и зачем понадобилась эта совершенно нелепая лестница на крыше, потом решил, что надо снять комнату в доме, а потом можно будет додуматься, для чего сие украшение.

Хозяева домика – семейство почтенного кожевника – занимали нижний этаж, а верхние три комнаты сдавались, но получилось так, что как раз в это время в двух соседних комнатах никто не жил, и юный сержант Рикар оказался единственным постояльцем семьи Леду...

Здесь и отыскал его на третий день Антуан Модюи, лучший его друг.

– Ну от тебя не знаешь, чего и ожидать! – возопил он, врываясь в комнату и заключая Огюста в объятия. – Твое письмо, от которого у меня волосы встали дыбом... потом известие, что ты вот-вот будешь в Париже, потом я прихожу к тебе в дом и узнаю, что ты передрался со стариком Роже и сбежал... И вот ты оказываешься в этом курятнике с дурацкой крышей...

– Ты на крышу обратил внимание? – с живостью спросил друга Огюст, горячо отвечая на его объятия. – Как ты думаешь, для чего там лестница?

– Что для чего? – не понял Антуан. – Ах, лестница! Мало ли какому олуху понадобилось прилепить ее к крыше просто для украшения?

– Но это же определенно дом буржуа, – возразил Огюст. – Середина прошлого века... Они просто для украшения ничего не делали: этот народ деньги считает.

– Тыфу ты, да ты и вправду помешался, твой дядя прав! – вскричал Модюи. – О чем ты думаешь? Думай, что тебе теперь делать, ведь ты, кажется, надолго прирос к месту... Бог знает, на кого ты сейчас похож!

– Я знаю, Антуан. – Юноша усмехнулся. – Но это не так важно. Ходить я уже скоро смогу получше. Отдохну неделю и опять начну учиться. А не то совсем от тебя отстану. Мало того что ты тремя годами меня старше и учишься уже давно, так вот еще и война мне насолила... А ты бы, может быть, приискал мне какой-нибудь заказ, а? Любой, хоть на рисунки для модного журнала. Мне совершенно не на что жить, а занимать бесконечно у Жозефины просто стыдно.

– Заказов я тебе поищу, – пообещал, подумав, Модюи. – Я бы и в долг тебе дал, но, понимаешь, пришлось во второй раз откупаться от военной службы, и на это ушло пять тысяч франков... Мой отец вне себя от злости, и я не могу сейчас просить у него денег.

– Понимаю, – кивнул, улыбнувшись, Огюст. – Помоги с заказами, и довольно. И не будем огорчаться из-за пустяков...

Они весело распили принесенное Антуаном вино и провели вечер, обсуждая будущее, учебу, возможные успехи. Как в самой ранней юности, оба великолепно понимали друг друга.

Второе появление Модюи оказалось неожиданным и невероятно бурным.

Это случилось через четыре дня, в воскресенье. Леду с утра отправились всем семейством к родне, и Огюст остался во всем доме один. Проглотив завтрак (весьма легкий, ибо от тетюшкиных денег оставалось чуть больше половины, а работы пока что не было никакой), он взялся за свои книги, которые ему прислала из Шайо добрая Жозефина.

Около полудня снизу донесся дикий стук в дверь, и, выглянув в окно, юноша увидел под дверью Антуана, но в таком виде, в каком тот, наверное, еще ни разу в жизни не бывал... Он был без сюртука, в рубашке и съехавшем на одно плечо плаще, забрызганном грязью, волосы на его непокрытой голове были всклокочены, он шатался; вцепившись одной рукой в перила крыльца, другой рукой отчаянно колотил по двери.

– Антуан, ты что?! – крикнул в окно Рикар.

Молодой человек вскинул голову, и лицо его привело Огюста в ужас. Всегда такое красивое, тонкое, смуглое, оно было перекошено гримасой безумного страха и бледно как простыня. Над правым виском виднелась алая ссадина, кровь текла по щеке, капала с подбородка на воротник рубашки.

– Огюст, открой! Открой, ради Бога! – прохрипел он, увидев в окне своего друга. – Скорее открой или я погиб!

В его осипшем голосе было такое отчаяние, что Огюст, забыв про свою больную ногу, живо вскочил и кинулся вниз. Потом он и сам не мог сообразить, каким образом сумел без костыля пересечь комнату, пробежать верхний коридор и одолеть два пролета лестницы. Он опомнился уже внизу, отпирая засов и чувствуя, что от невыносимой боли в бедре сию минуту упадет замертво.

Но оказалось, что падать в обморок нельзя, ибо влетевший в просторный коридор Антуан сам без сил свалился на соломенную циновку, простонав еле слышное:

– Запри!

Пришлось запереть дверь и задвинуть второй засов. Затем Огюст опустил на табурет и, подавив головокружение, спросил сквозь полусжатые зубы:

– Кой бес за тобой гонится, Антуан?

Молодой человек привстал и затравленным взглядом уставился на дверь. На его лице смешались пот, кровь, слезы и грязь.

– За мной гонится полиция! – прошептал он. – Ты... Кто-нибудь еще есть в доме?

– Нет, я один. Но почему?... Но за что?

– Меня кто-то оклеветал! – воскликнул Модюи, вскакивая и кидаясь к двери, чтобы проверить прочность засовов. – Понимаешь, я насолил тут одному мерзавцу, верно, это он... Пом-

нишь, четыре года назад мне пришлось по делам покойного кузена Мишеля побывать у генерала Пишегрю? Через год после того Пишегрю был арестован!³ Помнишь? Теперь нашлись какие-то бумаги... о заговоре... И кто-то донес в префектуру, что это я возил их генералу! Нас с отцом едва успели предупредить... Они ломились в дверь, когда я выскочил из окна... Они преследуют меня по пятам... деваться мне некуда! Ты не выгонишь меня, Огюст?

– Ты с ума сошел! – Рикар, морщась, растирал больную ногу. – Но послушай, ведь твой отец – друг префекта. Или нет?

– Да! – подтвердил Антуан. – Но префекта сейчас нет в Париже! На то и был расчет! Через две недели он вернется, и отец все уладит, но, если сейчас они меня сцапают, я за неделю буду отправлен на тот свет... Помощник префекта туп, как ослиная задница! Господи помилуй, я не хочу на гильотину!

Огюст содрогнулся:

– Ты думаешь... даже так? Но не без суда же! А ведь ты невиновен!

Модюи глянул на него и вдруг истерически расхохотался:

– А! Суд! Невинновен... Да-да! А Пишегрю, по-твоему, был виновен? Однако его не судили, а просто удавили в тюрьме! А герцог Энгийенский?⁴ Генерал и герцог! А я кто? Букашка, с которой не станут и возиться! Может, меня и до тюрьмы не доведут, а пристрелят по дороге! Они же... О, что это?! Ты слышишь?!

С улицы отчетливо донесся приближающийся конский топот. Антуан побледнел еще сильнее и вдруг кинулся на колени перед своим другом.

– Огюст, не открывай им, заклинаю тебя! – задыхаясь, шептал он. – Вспомни, что сам недавно погибал, не дай им убить меня! Именем Божиим, душою твоих отца и матери, умоляю, не открывай!

– Встань, черт возьми! – закричал Рикар, вскакивая с табурета. – Встань, не будь девицей! Помоги мне подняться в мою комнату, оттуда видна вся улица. Ну! Скорее – они уже здесь.

Действительно, едва молодые люди вошли в комнату, снизу раздался резкий повелительный стук, и низкий мужской голос прокричал:

– Отворите!

– Почему они сразу стучат в этот дом? – хрипло прошептал Антуан.

– Потому что он крайний, – ответил Огюст и, подхватив свой костыль, подошел к окну.

Перед дверью домика он увидел пятерых спешившихся жандармов и какого-то человечка в поношенной одежде, который вертелся вокруг них и стрекотал:

– Я слышал, господа, слышал, я живу напротив... Он точно стучался в этот дом!

«Так! – подумал Рикар, ощутив в горле что-то холодное и липкое. – Кажется, скверно...»

– Конец! – как эхо его мыслей простонал сзади Антуан.

– Не торчи у окна! – прошептал ему Огюст. – С твоим-то ростом! К стене встань...

И, возвысив голос, крикнул в окно:

– Вам что тут надо? Хозяев нет!

– Откройте нам, мсье! – прокричал, задрав голову, жандармский офицер.

– На кой черт я буду вам открывать? И кто вы такие?

Говоря это, Огюст выдвинул свободной рукой ящик стола, вытащил оттуда коробку и раскрыл ее.

В коробке лежали его пистолеты – подарок полковника Шенье. Оба пистолета были заряжены.

³ *Пишегрю Шарль* (1761–1804) – французский генерал, участник заговора против Наполеона, в 1803 г. был арестован и, по официальной версии, покончил с собой. Многие историки, однако, считают, что он был убит по приказу Наполеона.

⁴ *Герцог Энгийенский Луи-Антуан де Бурбон* (1772–1804) – один из родственников короля Людовика XVI, казненного Французской революцией. В 1803 г. был по приказу Наполеона похищен с территории Бадена, привезен во Францию и без суда расстрелян.

– Мы – государственная полиция! – прокричал снизу жандармский офицер. – Именем закона! В вашем доме государственный преступник!

– Помилуй Бог, сколько всего государственного! – вскричал юноша. – Не пугайте меня, мсье. Этот дом не мой, я сейчас в нем один и даю честное слово, я не преступник.

– Это еще надо доказать! – Офицер свирепо усмехнулся. – Но вы нас не интересуете, молокосос! У нас есть свидетель, который видел, что к вам вошел опасный заговорщик.

– Нет, я не видел, но я слышал, я слышал! – запищал человек.

– А может, ему приснилось! – насмешливо крикнул Рикар. – А может, этот преступник как раз в его собственном доме...

Внизу произошло замешательство, человек что-то тараторил, жандармы что-то у него спрашивали.

– Огюст, что же делать? – одними губами спросил Антуан, прижавшийся к стене возле самого окна. – Как мне теперь выйти?

– Никак, – прошептал в ответ Огюст. – Окна все на одну сторону, даже если вломиться в соседние комнаты. Хотя... Хотя погоди...

Его взгляд оторвался от окна и скользнул куда-то вверх. Но тут снизу вновь прогремел голос офицера:

– Я требую, мсье, чтобы вы открыли, слышите! Или мы сейчас выломаем двери!

– По какому праву? – Голос юноши задрожал от негодования. – Повторяю, господа: дом этот не мой, я не могу впустить вас, когда хозяев нет. К тому же у меня нога искалечена, и спуститься к двери мне не так легко. Так стоит ли спускаться, чтоб вы, быть может, меня застрелили или зарезали?

Офицер потерял терпение:

– Наглый мальчишка! Да ты нам не нужен! Если ты в доме один, то и счастье твое. Но если ты спрятал у себя заговорщика...

– Разве с заговорщиками не было покончено три года назад? – наивно спросил Огюст, вновь переводя между тем взгляд на потолок своей комнаты. – Разве у императора так много врагов во Франции?

– А он болтлив! – Офицер положил руку на эфес сабли и махнул рукой жандармам. – Ломайте-ка дверь!

– Не советую! – воскликнул Рикар, наводя на них пистолет, и прошептал: – Еще минута, и я соображу...

– Огюст, они убьют нас обоих! – простонал Антуан в ужасе. – Все кончено... Лучше я выйду к ним... Может быть, хоть тебя они не тронут.

– Замолчи! – Юноша искоса глянул на него и заговорил скороговоркой: – Возьми-ка сундук и выдвинь его на середину комнаты, а на него поставь стул...

– Для чего? – ошеломленно спросил Модюи.

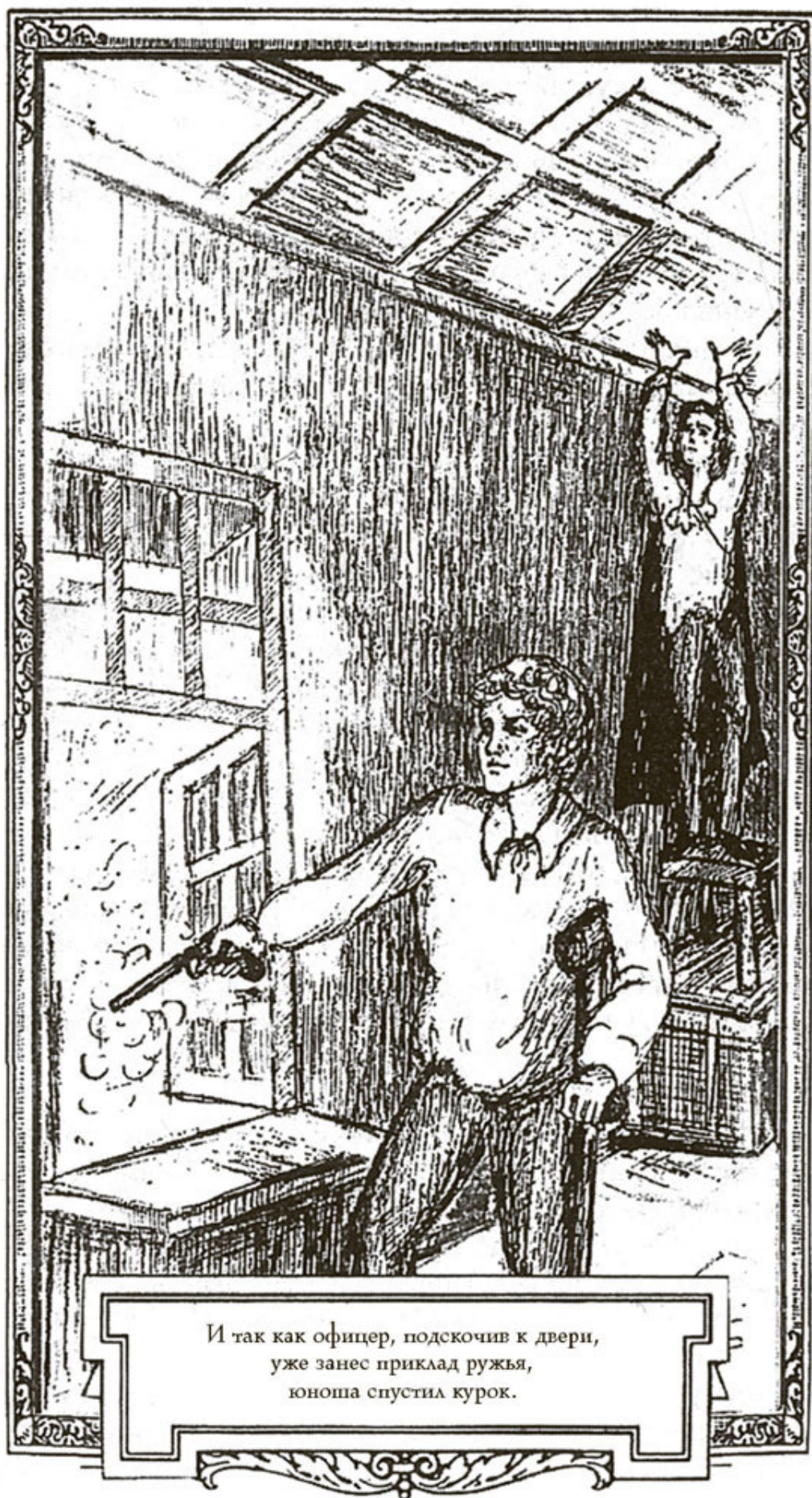
– Делай то, что я говорю! Скорее! А теперь становись на стул. Ты достанешь до потолка, да?

Ничего не понимая, но повинувшись энергичному тону своего друга, Антуан исполнил приказание Огюста. Встав на сундук, потом на стул, он легко дотянулся до деревянного потолка комнаты. Потолок был разбит на крупные светлые квадраты пересекающимися балками.

– Этот наглец совсем сошел с ума! – закричал между тем жандармский офицер. – Вы что же, будете стрелять в представителей закона, мсье? Вперед, жандармы! Вышибай дверь!

– Назад, господа, если вам дорога жизнь! – воскликнул Рикар.

И так как офицер, подскочив к двери, уже занес приклад ружья, юноша спустил курок. Пуля сшибла каску с головы офицера, и тот, яростно выругавшись, отбежал на несколько шагов.



– Следующим выстрелом я продырявлю вам голову, если хоть кто-нибудь из ваших людей прикоснется к двери! – отчетливо произнес Огюст, поднимая второй пистолет.

– Да вы мятежник! – взревел офицер. Четыре жандармских ружья при этих словах вскинулись и нацелились на окно.

– Огюст! – шепнул Антуан. – Впусти их, или...

– Тише, Антуан, – не поворачивая головы, сказал Рикар. – Отсчитай от стены четыре... нет, пять квадратов и сдвинь пятый в сторону... Ну, толкай!

Поняв наконец, в чем дело, Модюи напруг руки, толкнул деревянный квадрат потолка, и тот действительно отъехал в сторону, открывая неширокий люк.

– О Боже! – Голос Антуана задрожал и зазвенел восторгом и изумлением, он готов был зарыдать. – Откуда... откуда ты узнал?..

– Да залезай же, в конце концов! – прошептал Огюст, краем глаза наблюдая за тем, что происходило у него за спиной. – В черепице тоже есть люк, только найди его... он наверняка просвечивает... И по лестнице перелезь на ту сторону крыши, потом на пристройку и оттуда спустись в сад, он запущен, там никого нет... Когда услышишь, что они уехали, возвращайся через крышу сюда. Понял?

– Да, – живо ответил Модюи и в следующее мгновение исчез в люке.

– Послушайте, мальчик мой! – обратился в это время жандармский офицер к Рикару. – Или дайте честное слово, что сейчас откроете дверь, или я прикажу вас застрелить. Вы достаточно испытывали мое терпение, а сейчас совершили покушение на меня...

– О, только на вашу каску! – ответил Огюст. Его острый слух уловил шорох на крыше, и он понял, что Антуан благополучно перебрался через конек и спустился к пристройке.

– Если бы я хотел вас убить, мсье офицер, то попал бы не в каску, а в вашу голову, – сказал юноша, невольно переводя дыхание.

– Довольно! – прогремел офицер. – Именем императора, откройте, или...

– О, вот перед именем императора я сдаюсь! – Осажденный бросил на стол пистолет. – Сейчас я открою вам, мсье, хотя и не знаю, что вам от меня надо... Но придется чуть-чуть подождать: я с трудом спускаюсь по лестнице.

С этими словами он отошел к сундуку и совершил настоящий подвиг: стиснув зубы, чуть не плача от боли, влез на сундук и на стул и концом костыля задвинул деревянную крышку люка, которую позабыл задвинуть Антуан... Потом Огюст спустился на пол, подвинул сундук на место, поставил к стене стул.

С лестницы он спустился на этот раз очень медленно, и жандармы уже опять начали колотить в дверь прикладами.

– Да не стучите же, открываю! – закричал через дверь Огюст. – Только имейте в виду, господа: я доверяюсь вашей чести и отдаю себя в ваши руки. Если вы убьете меня, моя кровь навсегда запачкает ваши мундиры...

Он отодвинул оба засова. Створки двери тут же распахнулись, и офицер, первым вбежав в коридор, приставил острие сабли к груди юноши.

– Где ты прячешь его, негодяй?! Говори, или я...

– Клянусь вам, я один в этом доме! – В синих глазах Рикара, обращенных на жандарма, были недоумение и упрек. – Клянусь вам Божьей Матерью, мсье, я здесь один...

– Обыщите дом! – резко приказал офицер. – Но знай, висельник: если заговорщик все-таки здесь, ты живым отсюда не выйдешь!

Через пятнадцать минут, вломившись по очереди во все помещения дома и все в них обшарив, жандармы доложили командиру, что дом действительно пуст.

– Так какого же дьявола ты нам не открывал, негодяй?! – набросился офицер на Огюста.

– Откуда я знал, кто вы такие! – Молодой человек вытер ладонью пот с висков и тверже стиснул левой рукой костыль, ибо его пошатывало. – Мало ли кто наденет форму... Дом-то не мой, да мне и самому страшно стало... Простите меня, мсье!

Офицер минуту колебался, принимая решение, потом опустил саблю.

– Как ваше имя? – спросил он юношу.

– Огюст Рикар. С вашего позволения, отставной сержант 9-го Конногвардейского полка. Ранен во время боевых действий в Италии, в июле этого года.

– Хм! Герой... Ну ладно... Будем считать, сержант, что вы со страху наделали глупостей. Но впредь относитесь поуважительнее к представителям закона. Идем, ребята. И... Где этот сосед, что нам наболтал чепуху?

Но того уже и след простыл.

Побравившись, на этот раз в адрес соседа, жандармы уселись на коней и ускакали, подняв на узкой улочке тучу рыжеватой пыли.

Огюст поднялся к себе и в совершенном изнеможении упал на стул. Спустя некоторое время над ним закрипел люк, и Антуан в полном смысле слова свалился ему едва ли не на голову. Он заливался смехом, хотя на щеках его все еще блестели дорожки слез.

– Уехали, убрались! – закричал он, обнимая своего друга и в бешеном порыве едва не опрокидывая стул вместе с ним. – Я спасен! Спасен!

– Только не пляши перед самым окном! – весело отбиваясь от его сумасшедших объятий, проговорил Рикар. – Как бы тебя опять не заметил этот соглядатай. Больше, кажется, в доме напротив никого нет: то ли на ярмарке, то ли Бог их знает где. И счастье: из-под двери-то нашей крыши не видно, а из окон этого дома – вполне.

– Ты спас меня, Огюст! Ты меня спас! Боже, Боже, я тебе обязан навеки, Огюст, навеки! Ах, Огюст... Но это какая-то чертовщина... Откуда ты узнал об этом люке?

– Я о нем не знал, – покачал головой Рикар.

Глаза Антуана округлились.

– Но...

– Ты же помнишь: меня мучила эта лестница... Я не мог понять, для чего она там, на крыше... И вот когда мы с тобой оказались в ловушке, вдруг сообразил. Жил здесь, должно быть, сто лет назад какой-нибудь ростовщик или ювелир, боялся ежечасно, что его ограбят или зарежут. Ну и придумал эти люк и лестницу. А едва я это понял, остальное было уже просто: я мысленно нарисовал разрез дома, рассчитал, от какого места начинается лестница, ну и высчитал, за каким квадратом потолка спрятан люк.

– Ты – гений! – закричал Модюи.

– Ага, признаешь! – Огюст расхохотался.

– Признаю! Признаю и скажу это кому угодно! Мой отец, поверь, устроит тебе нужные знакомства, а я...

– Знакомства я сам себе устрою. – Рикар озорно подмигнул товарищу. – Мне теперь есть что показать хоть самому Шарлю Персье⁵. Ну а ты, надеюсь, и так был мне другом.

– Да, Огюст, но теперь скажи только слово, и я отдам тебе свою жизнь.

– Мне она не понадобится, Антуан, мне хватит и своей... Надеюсь... Что теперь ты будешь делать?

Модюи вздохнул:

– С наступлением темноты выберусь из города и отправлюсь в Булонь, к родственнику отца. Покуда отец не купит в очередной раз благосклонности префекта, мне придется остаться

⁵ Персье Шарль (1764–1838) – известный французский архитектор, придворный архитектор Наполеона, один из создателей стиля ампира. Известно, что Монферран некоторое время работал в его мастерской и считал себя его учеником.

там. Но потом... О, потом я во всем тебе помогу, можешь не сомневаться. И с заказами, и с деньгами. Уж теперь-то отец для тебя раскошелится.

Огюст опять засмеялся, на этот раз печально.

– Моя благосклонность будет стоить дешевле, франков пятьсот я, возможно, и возьму у него в долг. Ах, Антуан, как противно быть бедным... Тебе этого не понять... Впрочем, я обязательно разбогатею.

– С таким-то талантом! Я не сомневаюсь! Конечно!

Антуан готов был сейчас согласиться с любыми словами своего друга. Он все еще находился в состоянии, близком к истерике, но то была уже буйная истерика спасенного, истерика ликования, и Огюст, недавно испытывший страх смерти, понимал это состояние...

– Послушай, Антуан! – прервал юноша бурные речи товарища. – Окажи-ка мне одну услугу уже сейчас. Да и себе заодно. К вечеру вернутся мои хозяева, и тебе до темноты придется прятаться за шкафом – мадам Леду может войти и без стука... Потом уйдешь опять через крышу. Ну а пока надо подкрепиться. Спустись вниз, зайди на кухню и отыщи там большую корзину с бутылками.

– С бутылками?

– Ну да. Я видел их утром, когда хозяева уходили и я за ними запирал. По-моему, великолепное бургундское.

Модюи прищелкнул языком:

– Отлично! А что скажет хозяин?

– Что? – поднял брови Рикар. – Да проклянет и назовет последними словами жандармов. Это ведь они посшибали отовсюду замки и все перевернули в его доме. Ну вот, стало быть, и бутылку прихватили.

– О, конечно! Негодяи! А может быть, две? Их все же было пятеро...

Рикар слегка покраснел, но тут же кивнул:

– Да, пожалуй, скорее две. Ну и наверное, полголовки сыра, что лежит на полке, они тоже могли взять. И отрезать кусочек ветчины от здорового окорока... А вот есть ли там хлеб, не помню.

– Я найду! – пообещал Антуан, уже выскакивая на лестницу.

Когда он исчез, Огюст устремил взгляд на висящее в углу изображение Богоматери, перекрестился и прошептал:

– Прости меня, святая Дева Мария... Ей-богу, я понимаю, что это дурно. Но бедняга Антуан голоден. И я тоже. Я почти голодаю уже неделю, а ведь мне надо оправляться от ран... Да и после сегодняшнего приключения силы восстановить надо. Прости меня, Дева Мария!

V

Зимой 1812 года звезда Наполеона Бонапарта закатилась. Его роковой поход в Россию закончился страшным падением «великой армии» и предательским бегством государя и полководца от погибающих среди русских снегов солдат...

Париж был потрясен и растерян, Париж оплакивал своих воинов, даже не зная всей правды, всех ужасов, судьбы, постигшей их сограждан, не зная, сколь немногим из них суждено возвратиться домой и какими они вернутся... И никто не знал еще, что ожидает Францию в скором будущем, но оно уже никому и не представлялось полным светлых надежд... Многие твердили, правда пока совсем тихо, что лучше было бы императору давно прекратить эту бесконечную цепь войн...

Напечатанный в «Мониторе» шестнадцатого декабря 29-й армейский бюллетень поразил всех, как взрыв бомбы⁶.

Наспех сколоченный из обломков французской революции, обитый потускневшим золотом версальского двора, трон Бонапарта затрещал.

Вечером двадцать четвертого декабря, накануне Рождества, по набережной Сены неторопливо шагали два человека. Вечер был холодный, временами, при резких порывах ветра, в лицо им летели залпы мокрого снега, и они заслоняли лица, жмурясь и плотнее кутаясь в шерстяные плащи. Но шагов не ускоряли: они были заняты своим разговором и не спешили расставаться.

Старшему из них было на вид лет пятьдесят, однако походка его была по-юношески легка, и сзади он казался куда моложе. Лицо, покрытое тонкой сеткой морщинок, тоже выглядело энергичным и очень живым, и только в темных внимательных глазах заметна была привычная мудрая усталость.

– Так вот, друг мой, – говорил он своему спутнику, помахивая изящной тонкой тростью, на которую и не думал опираться. – Я рад буду, разумеется, поздравить вас с окончанием школы, однако же, боюсь, новых удач вам ждать не следует.

– Из-за войны? – спросил его собеседник.

– Из-за поражения в войне, – уточнил первый.

– Вы уверены, мсье Шарль, что война будет проиграна?

– Пф! – В этом возгласе мсье Шарля послышалась нескрываемая досада. – Не надо прикидываться, мальчик мой, – я-то отлично знаю, сколь вы умны. Вы и сами понимаете, во всяком случае после издания этого несчастного бюллетеня, что русская кампания уже закончена, и закончена самым бесславным поражением. А за нею, надо полагать, последуют и другие поражения. Враги империи получают в свои руки слишком могучий козырь.

Молодой спутник мсье Шарля, зажмурив глаза при новом резком порыве ветра, повернулся и задумчиво посмотрел на темную, подернутую легким клочковатым туманом воду Сены.

– И как вы думаете, чем все это кончится? – спросил он.

Мсье Шарль пожал плечами:

– Я не пророк. Однако полагаю, империи придет конец. Надеюсь, что только империи, а не Франции, хотя, кажется, еще ни разу Франция не оказывалась над такою глубокой бездной, как ныне.

– Боже мой! Опомнитесь! Что вы говорите?! – вскричал молодой человек, вновь, и на этот раз порывисто и быстро, оборачиваясь.

⁶ Из этого армейского бюллетеня, впервые приведшего истинные цифры потерь французской армии, французы наконец узнали, чего стоили народу и государству политические амбиции императора Наполеона.

На тонком лице мсье Шарля показалась улыбка.

– О, вы тоже патриот. Вы любите Францию, это видно, и вам не безразлична ее судьба, хотя и безразлична судьба императора.

Спутник мсье Шарля слегка вздрогнул:

– Я никогда ничего подобного...

– Не говорили, да! Но обмануть меня трудно, Огюст. Ваше настроение я давно понял. Вы же дворянин, стало быть, по убеждению – роялист.

– Нет! По убеждению я только архитектор! – решительно возразил молодой человек.

– Bravo! – Мсье Шарль улыбнулся еще шире. – Сказано прекрасно, хотя, очевидно, не совсем искренно... Я тоже только архитектор, и ничего больше, и, хотя расцвет моей славы произошел с восхождением Бонапарта, в душе моей не кипит верноподданнической страсти. Я всю жизнь трезво смотрел на события, и потому величие нового трона меня не ослепило: я предвидел и возможность его заката... Поняв, что цель императора – завоевать мир, я увидел, сколь вероятно его падение, а вместе с ним падение Франции, ибо такие, как он, погибая, увлекают на дно и корабль, которым управляли: для такого человека мир существует до тех пор, пока в этом мире есть он сам.

– Да, овладеть миром никому еще не удавалось, и все дерзновенные безумцы погибали на этом пути... – прошептал Огюст. – Но Франция!.. Что же будет с нею, мсье?

– Не хочу об этом думать! – махнул рукою мсье Шарль. – Надеюсь, она выживет. А вы думайте, мальчик мой, что будет с вами. Вы начинаете свою карьеру в неудачнейшее время, и хотя я вижу в вас блестящие и даже гениальные способности... Да не краснейте, вы уже не ребенок, и вам можно это сказать. Вас дважды допускали к конкурсу на Большой римский приз⁷, и в последний раз вы его едва не выиграли, а это о многом говорит. Так вот, вам же из-за этого-то и хуже, Огюст: в разоренной, проигравшей войну стране строить не будут, во всяком случае, храмы и пантеоны. И если найдется работа мелким ремесленникам, услужливым исполнителям, добросовестным и кропотливым труженикам, которым одинаково легко строить и дворцы, и винные склады, то таким, как вы, настоящей работы не будет. Это говорю вам я, Шарль Персье, милостью Господа Бога и его величества императора, – главный придворный архитектор.

– Что же мне делать? – печально усмехаясь, спросил Огюст.

– Прежде всего постараться снова не угодить в армию, ибо все идет к тому, что призывать начнут уже всех подряд.

Огюст сморщился:

– Господи помилуй! Но ведь я уже два года работаю у мсье Молино, и он... он мной очень доволен.

– Разумеется! – Персье пожал плечами. – Но это не значит, что он вас защитит, ему не до того, да и не привык господин главный архитектор Парижа оспаривать высочайшие повеления. И я не смогу вам помочь: официально вы со мною очень мало связаны, я не могу, к примеру, заявить, что вы мне непременно нужны. Ну а как сейчас ваше здоровье?

– К сожалению, мсье, великолепно. В последние три года я начисто перестал хромать, да, впрочем, и прежняя хромота мало помогла бы: я же кавалерист.

– Тем более. Думайте, как избежать призыва, а если все же вас призовут, умерьте свою отвагу: глупо умирать героем в заранее обреченной военной кампании. Ну а когда наконец все это кончится, чем бы оно ни кончилось, придется искать окольных путей к успеху.

– А именно? – грустно спросил молодой человек.

⁷ Монферран дважды участвовал в период своей учебы в этом конкурсе, на который допускались самые талантливые молодые архитекторы.

– Вероятнее всего, уехать... Что вы смотрите на меня с таким испугом? Так поступали многие. Кстати, вы мне рассказывали о своем друге... как его? Ма...

– Модюи. Антуан Модюи.

Персье кивнул:

– Я слышал о его стремительном взлете. По утверждению моих знакомых, этим взлетом он обязан не выдающимся своим способностям, а выдающимся капиталам и связям своего отца.

– Неправда! – покачал головою Огюст. – Модюи очень талантлив. Я его хорошо знаю.

– Такие слова делают вам честь, как другу прежде всего, ибо полагаю, что дать полную оценку чужому дарованию, не проявившемуся пока что ни в чем, вы не можете. Однако мне говорили, что ваш друг уехал в Россию?

– Два года тому назад, мсье Шарль. Представляю, как он там себя теперь чувствует: быть сейчас французом в России почти то же, что волком на псарне... Но в восьмьсот десятом году Тони поехал туда с самыми радужными надеждами: ему там обещали хорошее место и высокий чин. До того у Антуана были неприятности: я, кажется, вам говорил – он едва не был из-за чьей-то клеветы арестован по обвинению в заговоре и два месяца скрывался в Булони, пока его отец не замял совершенно этого дела. Потом произошел очень быстрый его взлет, его имя стало известно при дворе, и мне странно, что вы, мсье, тогда с ним не познакомились – говорили о нем много.

– Помню, и это как раз охладило мой интерес, – фыркнул Персье. – Я люблю, когда об архитекторе говорят уже в связи с его творениями, хотя бы начатыми... Хм! Ну а дальше?

– Дальше – приглашение приехать в Россию, в Петербург. Антуан его принял. Я иногда получал его письма оттуда... он был доволен службой.

Персье искоса бросил быстрый взгляд на своего спутника и улыбнулся:

– Я слышал, ареста он избежал благодаря вам.

– Это правда, – кивнул Огюст. – Но я ему тоже обязан. Пять лет назад, покинув отцовский дом, я остался без гроша в кармане... мне пришлось узнать, что такое голод, и это едва оправившись от ранений... Отец Антуана нашел мне тогда работу, и, если бы не это, я бы не смог, вероятно, возобновить своего обучения.

Персье слегка улыбнулся:

– Услуга за услугу. Буржуа вроде мсье Модюи-старшего, насколько я знаю, просто так ничего не делают. Хорошо же. Не теряйте связи со своим Тони, Огюст. Быть может, его успехи в России, если таковые имеются, помогут и вам впоследствии найти свое место под этим неласковым к нам, смертным, небом... Однако вот и Новый мост. Я сворачиваю. А вам, если не ошибаюсь, отсюда уже недалеко?

– Совершенно верно. До свидания, мсье Шарль.

Персье запросто, почти по-дружески, простился со своим учеником, ибо считал его таковым по праву, часто принимая его в своей мастерской и консультируя его первые проекты.

– Навестите меня на будущей неделе, мой мальчик! – сказал он, пожимая руку молодого человека.

Огюсту было теперь действительно недалеко от дома, однако он должен был зайти еще в две-три лавочки и купить подарки родне к завтрашнему Рождеству, для этой цели он сберег в своем кошельке целых шестнадцать франков, что при скромных его доходах было подлинным проявлением нежных родственных чувств. Но холод и густой мокрый снег заставили молодого человека переменить свое намерение: он решил отложить покупки до утра и свернул с набережной на улицу, в конце которой последние три года снимал квартиру, состоявшую из двух небольших, но приличных комнат.

Дойдя до большого кирпичного дома и машинально подняв глаза к знакомым окнам последнего четвертого этажа, точнее, высокой мансарды, Огюст вдруг замер на месте и затем

злобно выругался. Два окна его гостиной-кабинета были освещены, и притом довольно ярко. Это означало, что негодяй Гастон, его слуга, снова осмелился зажечь свечи, да не одну, это еще Огюст мог простить ему, зная, что лакей любит на ночь почитать чувствительный роман, но, судя по свету, в гостиной горело не меньше четырех свечей! Этого только не хватало! Расходы в этот месяц и так превышают все нормы, а ведь еще придется тратиться, наступают праздники, шестнадцатью франками дело не обойдется, а мсье Молино может и не выдать своему подчиненному аванса за следующий месяц, последнее время Огюст и так часто его просил...

– Я тебя убью, проклятый верблюд! – прошептал молодой человек, бегом поднимаясь по узкой и совершенно темной лестнице, где он знал наизусть каждую ступеньку. – Небось решил, что я приду поздно, и затащил к себе какую-нибудь потаскуху, и угощает ее в моей гостиной, моим вином, да еще палит мои свечи, дабы лучше выглядела его пьяная физиономия! Ну я же тебе сейчас устрою закуску! Погоди же у меня!

Подскочив к двери, он не стал звонить, а выхватил из кармана ключ и одним движением, почти бесшумно повернул его в скважине. Ему хотелось появиться перед провинившимся слугою подобно Юпитеру, неожиданно и грозно, блистая громами и молниями.

– Гастон! В честь чего сей фейерверк?! – крикнул Огюст, врываясь в гостиную, действительно освещенную четырьмя свечами, вставленными в большой хозяйский канделябр.

– В честь меня, разумеется! – ответил голос из глубины гостиной.

И тогда, подняв голову, молодой архитектор увидел, что в его квартире не только зажжены свечи, но вовсе растоплен камин, который обычно до позднего вечера еле-еле теплится, а растапливался по-настоящему только к ночи. В глубоком кресле, возле камина, сидел, закинув ногу на ногу, черноволосый молодой человек в элегантном и, судя по всему, очень дорогом костюме, а у ног его валялась картинно сброшенная на пол мохнатая волчья шуба.

Огюсту не надо было всматриваться, чтобы узнать этого человека, хотя он не видел его два с половиной года.

– Тони! – закричал он и ринулся к гостю, который тотчас вскочил и, перепрыгнув через шубу, бросился ему навстречу.

– Огюст, милый! Здравствуй!

Друзья кинулись друг другу в объятия, и прошло порядочно времени, прежде чем они, осыпав один другого целым потоком полубессвязных слов и восклицаний, уселись наконец за стол, на который предусмотрительный Гастон уже водрузил тарелки с холодными куропатками и крупно нарезанной колбасой, а в добавление к ним – две бутылки прекрасной выдержки «Вдовы Клико».

– Это ты притащил? – растроганно спросил товарища Огюст. – Узнаю тебя, щедрая душа!

– Ничего я не притаскивал, – засмеялся Антуан. – Я пришел, открыл твой буфет, увидел, что вина маловато для нашей встречи, а закуски и того меньше, ну и отправил твоего слугу в ближайшую лавку, разумеется, после того, как он растопил пожарче камин. С меня, знаешь ли, довольно русских снегов, и я не желаю мерзнуть еще и в Париже!

– Что с тобою было в России? Расскажи! – Огюст прямо-таки захлебывался от нетерпения.

– Было такое, от чего я удрал сломя голову, хотя, возможно, и не к моей чести, – махнув рукою, Модюи вытащил нож и принялся отковыривать сургуч с головки одной из бутылок. – Вернусь, когда это утрясется, если, конечно, это будет не через десять лет... Я писал тебе все время из Петербурга, там я и жил, и, надо сказать, превосходно устроился, но все полетело к чертям этим летом, а накануне проклятого сражения под Москвой я, как на грех, в Москве и оказался, поехал за обещанным мне еще прежде вознаграждением (я дом там переделывал одному болвану-купцу), да вот и застрял.

– И ты видел московский пожар? – Голос Огюста даже немного дрогнул.

Антуан поставил на стол открытую бутылку и обеими руками выразительно стиснул свои виски.

– Чтоб мне только в кошмарах не снились эти дни! – проговорил он, откидываясь на стуле, будто недавнее воспоминание сразу отняло у него все силы. – Да, Огюст, я видел это! Пылающую Москву, расстрелы поджигателей или только заподозренных в поджогах... Я видел, как озверели и наши, и они, сами жители города... Мне страшно было в эти дни открыть рот, чтоб москвичи не поняли, кто я. Эти русские обычно безошибочно отличают своих аристократов, ни черта не говорящих по-русски, от настоящего француза. Я думал, они меня могли бы разорвать. Ну и я приложил все усилия к тому, чтобы покинуть Россию до лучших времен, ибо при таком положении дел мне и в Петербург страшно было возвращаться. Надежные люди, само собою за большие деньги, устроили мне отъезд в Швецию, ну а уже оттуда я прибыл сюда и здесь узнал о том, что произошло с нашей армией на Смоленской дороге, и о возвращении императора. Вот уже неделя, как я в Париже.

– Неделя?! – ахнул с возмущением Огюст. – И за это время не побывал у меня ни разу?

– Если бы я знал, где тебя искать! – развел руками Модюи. – В Шайо я не решился сунуться, помня, как меня любит твой дядюшка Роже. Он же считает, что я совратил тебя, «заразил архитектурой»... Первые дни я был еще немного не в себе после всех этих потрясений и не догадался узнать у Молино, честно говоря, даже и позабыл, что ты теперь у него. А тут еще гром среди ясного неба: ты изменил имя и стал называться мсье де Монферран! Вот и ищи тебя!..

– Имя я только удлинил! – засмеялся Огюст. – На то были причины... Ну, итак, за твое возвращение, Антуан, и за нашу встречу!

Он взял у товарища распечатанную бутылку, наполнил бокалы и поднял один из них. Антуан взял другой, они чокнулись.

– Да сгинут все наши печали! – воскликнул Модюи. – За тебя, мой милый Огюст, мой драгоценный спаситель! Пью до дна! Ну а теперь говори, как же твои дела? Ты писал мне, что чуть было не взял Большой римский приз?

– Это я похвастался, – вздохнул Огюст. – Хотя да, проект мой, как и в восьмьсот седьмом году, оказался одним из лучших. Одним из... Но для Большого приза у меня было еще маловато покровителей. Персье лишь в последние года полтора особенно расположен ко мне. Впрочем, быть может, у меня и способностей не хватает. Молино от меня в восторге, а платит по-прежнему гроши. Правда, я участвовал в работах над церковью Святой Мадлен. Интересно! Школу в этом году заканчиваю... Мсье Шарль находит меня талантливым. Он мне только сегодня это говорил. Еще я, возможно, через год женюсь, во всяком случае, дело идет к обречению.

– Ба! – так и подскочил Антуан. – Ну и кто она?

Огюст усмехнулся:

– Она – дочь одного купца, некогда богатого, сейчас немного пообедавшего из-за всяких военных событий. Они ведь бьют и по карману торговцев... Но этот господин снова будет богат, у него огромные способности доставать деньги. Мадемуазель Люси, моя вероятная невеста, его старшая дочь, ей сейчас двадцать шесть лет, младшей, Луизе, девятнадцать, и в нее влюблен по уши сын другого купца, партнера мсье Шарло, с которым мсье Шарло мечтает породниться больше всего на свете. Однако же он не может выдать замуж младшую дочь прежде старшей.

– Да уж, у купцов с этим строго! – кивнул, улыбаясь, Антуан. – И потому, стало быть, мсье Шарло спешит женить тебя на мадемуазель Люси?

– Именно поэтому, – подтвердил Огюст. – Его партнер – старик железных правил и никогда не согласится, чтобы его сын обвенчался с Луизой, если прежде не будет обвенчана ее старшая сестра.

– А много ли дают за этой мадемуазель Люси? – осведомился Модюи.

– Дают гроши, – вздохнул Огюст, – ибо за Луизой приходится давать сто пятьдесят тысяч франков, а больше у мсье Шарло сейчас почти ничего нет. Но не думай, что я позволяю себя одурачить, – поспешно добавил он, заметив изумленный взгляд Тони. – К Люси перейдет дом ее отца, а самое главное, мне достанутся его богатейшие связи, без которых, как ты понимаешь, мне не пробить себе дороги, тем более сейчас... Впрочем, я еще думаю... Уже и пора делать предложение, а мне не очень-то хочется. Я не влюблен в Люси Шарло.

– Понимаю! – Модюи сочувственно поморщился. – Она некрасива?

– Она похожа на букет, старательно составленный садовником, – ответил Огюст. – В ней всего вполне достаточно...

– В таком случае можно и рискнуть. В конце концов, что ты теряешь? А каково мнение старика Роже? Доволен ли будет твой суровый дядюшка, если ты сделаешь такой выбор?

– Не знаю.

– Не знаешь? – удивился Антуан. – Ему еще не сказали? Или он ничего не говорит по этому поводу?

– И никогда ничего не скажет, Тони... Он умер восемь месяцев тому назад.

– Вот так штука! – вырвалось у Модюи. – Я и не знал...

– Разумеется, не то ты не боялся бы ехать в Шайо... Бедного дядюшку хватил удар, и пролежал он после того всего два дня. Жозефина вызвала меня письмом: я ведь так и не бывал там с тех пор, как дядя меня выгнал. Старик очень ласково простился со мной, сказал, что все мне простил и оставил мне одному все свои сбережения – полторы тысячи франков. Не улыбайся! Для семейства Рикаров это – большие деньги. Получив их, я расплатился с долгами и смог наконец снять вот эту квартиру вместо прежней дрянной конуры... Но в благодарность за благодеяние мсье Роже попросил меня, умирая, только об одном: чтобы я стал носить имя отцовского поместья, имя, которое дядюшки давно мне дали, еще при крещении. Я никогда им прежде не назывался... Но Роже сказал, что я – единственный и последний мужской потомок рода... Бог ты мой! Что за честь: называться по имени сто раз проданного имения... Однако не мог же я не исполнить просьбы умирающего? И вот я теперь мсье де Монферран. Красиво звучит?

– Очень-очень красиво, – убежденно ответил Модюи. – И тебе идет.

– Я тоже думаю, что это звучное, как воскресный перезвон, имя очень идет к моей круглой физиономии, курносому носу и менее чем среднему росту! – расхохотался Огюст. – Остается прославить его, чтобы оно не было мне велико...

– Так сделай же это! – вскричал Антуан. – Пью за здоровье мсье Огюста де Монферрана и за его грядущие успехи! Да простит меня добрейший дядюшка Роже, но за упокой его непреклонной души мы выпьем следующий бокал. А пока за мсье Огюста де Монферрана! Виват!

VI

В последующие две недели друзья виделись едва ли не каждый день, несмотря на то что Огюст в эти дни много работал, а Антуан благополучно бездельничал, не собираясь ничего предпринимать, пока не проявятся последствия русского похода императора и не разрешится вопрос о возможном возвращении мсье Модюи в Петербург. Тони склонен был весело проводить время, но Огюста это слегка раздражало: он не любил веселиться так часто, тем более за чужой счет. Кроме того, теперь к его привычной гордости бедняка-дворянина примешивалась и некоторая доля старательно скрываемой обиды: прежде Тони угощал его на деньги своего отца, ныне же у него были свои деньги – деньги, заработанные ремеслом, которому служили они оба, но Огюсту это обожаемое ремесло приносило пока лишь весьма скромные доходы, а друг его за два с небольшим года успел, кажется, почти разбогатеть. Правда, Модюи так толком и не рассказал товарищу о своих работах в России и очень туманно описывал возложенные на него обязанности, однако деньги говорили сами за себя...

– Куда мы сегодня направимся? – обычно спрашивал при встрече Тони, всем видом своим показывая, что душа его раскрыта для щедрот, и Огюст неизменно придумывал какую-нибудь отговорку или предлог, дабы ограничиться прогулкой по набережной Сены, домашним ужином или уж парой кружек пива в каком-нибудь заведении поскромнее. Тут уже и он мог угостить приятеля и не стыдился худобы своего кошелька.

Однажды они наведались в дом пожилой дамы, которая по доброте душевной приютила у себя полдюжины юных девиц, оставшихся, вероятно, без крова и содержания, а чтобы не остаться самой без корки хлеба, приглашала в гости молодых и немолодых мужчин, лишенных почему-то (временно или постоянно) женской ласки. Допускались к мадам Кюи не все подряд, а лишь лица, рекомендованные ее друзьями, ибо дом ее слыл совершенно порядочным, а девицы числились родственницами и служанками, однако у Антуана нашлись связи и здесь.

Что греха таить, такое посещение не ошеломило Огюста и не поставило его в тупик. Он не был по природе своей развратен, а бедность заставила его, избегая откровенной уличной грязи, вести жизнь сдержанную и достаточно целомудренную, однако он не давал никаких обетов на этот счет и доступными радостями пользовался в той мере, в какой они не роняли его достоинства, так что в двадцать семь лет опыта у него было достаточно, а излишней скромностью он не страдал, уже не раз убедившись в том, что женщины его любят. Вечер, проведенный в доме мадам Кюи, убедил в том же и Антуана. Чернокудрый красавец, всегда уверенный в своей неотразимости, не без досады заметил, что юным «родственницам» пожилой матроны его друг понравился, во всяком случае, не меньше, чем он сам, и они осыпали его ласками наперебой, прямо-таки отнимая друг у друга.

– Подумать только, а ты, оказывается, сердцеед! – воскликнул Антуан, когда уже под утро, спотыкаясь в полутьме о неровности мостовых, они тащились через зловещую Гревскую площадь⁸, вблизи которой, бросая вызов Богу и закону, поселилась мадам Кюи.

Огюст снизу вверх с чуть заметной улыбкой посмотрел на своего товарища и спокойно проговорил:

– Тони, я знаю, что я не Нарцисс и не Гиацинт⁹. Но, как видишь, это мне не мешает. Я еще не пытался совращать неприступных красавиц, просто случая не было, но думаю, если бы мне уж очень захотелось...

– Ни одна бы не устояла? – весело блестя глазами, спросил Антуан.

⁸ Гревская площадь – площадь в Париже, на которой совершались смертные казни.

⁹ Нарцисс и Гиацинт – герои древнегреческой мифологии, юноши, отличавшиеся выдающейся красотой.

– Ручаться за всех на свете женщин не могу, то было бы неумно, – со вздохом проговорил Огюст, – так что «ни одна» не скажу... Ну... почти ни одна, вот так будет вернее.

С минуту Модюи колебался, потом вдруг хлопнул товарища по плечу и воскликнул:

– Ловлю же тебя на слове! То, что ты сказал, звучит очень смело. Докажи мне, что это так!

– Каким образом? – удивленно взглянул на него Огюст.

– Соблазни женщину, которая, как о ней говорят, показала на дверь уже половине мужчин в Париже.

В голосе Тони прозвучал вызов, а слова его хотя и заставили Огюста ощутить на спине щекочущий волнующий холодок, однако вызвали скорее раздражение.

– Что ты дразнишь меня, мой дорогой? Чтобы подступиться к этакой салонной львице, надо иметь для начала хотя бы тысячу франков. У тебя я их не возьму, не то придется потом отдать тебе побежденную Брюнхильду нетронутой на брачном ложе¹⁰, а меня сие не устраивает, ну а у меня, как ты знаешь...

– Ты ничего не понял! – расхохотался Антуан. – Брюнхильда эта вовсе не салонная львица, и, кроме тебя, затворник ты мой, верно, не найдется в Париже мужчины, который не видал бы ее чудесных точеных коленок. Однако, тем не менее подступиться к ней никто из моих знакомых не сумел, и кто ее любовник, если таковой есть, никому не ведомо. Ручаюсь, что в скором времени им буду я, однако, раз ты так смел, попробуй меня опередить.

– Ничего не понимаю! – растерялся Огюст. – Что это за женщина, чьи колени видел весь Париж? Она что же?..

– Она наездница в цирке! – Продолжая смеяться, Тони взял товарища под руку и заговорил весело и возбужденно: – Понимаешь ли, красоточка, каких мало, я, пожалуй, таких ножек не видел ни в Париже, ни в Булони, ни в Риме, ни, черт побери, в Петербурге! В лице же больше скорее не красоты, а какого-то пленительного своеобразия. Само собою, она не мадам Рекамье¹¹, но ей-же-ей, уступит не многим! На второй день после моего приезда я забрел в цирк и увидел ее и с тех пор побывал там уже семь раз и уже познакомился с ней.

– Ах вот как! – возмутился Огюст. – Ты сделал половину дела, а теперь говоришь «опережи меня»... Весьма мило с твоей стороны!

– Повторяю тебе, это вовсе не та женщина, – рассердился Антуан. – «Половину дела»! Ни шагу, уверяю тебя, к конечной цели. Да, она легко впустила меня в свою уборную (правда, когда уже оделась), она взяла у меня два раза цветы, мило слушала мою пустую болтовню и даже отвечала мне (между прочим, она умна, прими это к сведению, ибо это при знакомстве с женщиной – самое большое неудобство, равно как и самая неприятная черта женской натуры), да так вот, она мне отвечала, но все это ровно ничего не значило, такова она и со всеми остальными и всем одинаково в нужную минуту дает понять, что дальше продолжать бессмысленно. И дает понять в таких выражениях, а главное, таким тоном и с таким взором, что все тут же и исчезают с самым горьким разочарованием.

– Но ты же не исчез.

– Я?! Ну это было бы чересчур, мальчик мой! – Черные глаза Антуана засверкали бесовским пламенем, в эту минуту он был еще красивее, чем обычно. – Говорю тебе, она будет моя, раз я так уж ее хочу. Но быть может, тебе раньше удастся сломать эту печать, кто знает? Хочешь побиться со мной об заклад?

– Неизвестно чего ради? – пожал плечами Огюст. – Я еще не видел ее, Тони, и, хотя в твоём вкусе не сомневаюсь, рисковать не хочу. Да и стоит ли нам соперничать из-за циркачки? Неприступность ее ты, верно, преувеличиваешь. Сколько ей лет? Шестнадцать?

¹⁰ Брюнхильда – героиня древнего немецкого эпоса «Песнь о нибелунгах», королева-воительница, которую герой эпоса богатырь Зигфрид сватает за своего друга, укрощает на брачном ложе и, не тронув ее, передает жениху.

¹¹ Рекамье Жюли Адельида (1777–1849) – знаменитая в Париже красавица, в ее салоне собирались парижские аристократы, противники Наполеона.

– Да нет, пожалуй, около восемнадцати.

– Ха-ха! И ты что, воображаешь, что она может оказаться девственницей?

Модюи опять залился смехом:

– По-твоему, я дурак? Я же сказал «восемнадцать», а не «восемь»... Но неприступность женщины, на мой взгляд, куда интереснее преодолеть, нежели неприступность девицы, ведь во втором случае целомудрие – это привычка и неведение, а в первом – игра и расчет, ум, воля... Нет, ты посмотри на нее, Огюст, и мы наверняка будем спорить. Сегодня же идем в цирк!

– Сегодня?! Пожалей меня! – взмолился Огюст. – В таком мраке циферблата не разглядишь, но я уверен, сейчас уже около семи. В девять я должен быть на строительстве этих чертовых гвардейских конюшен. Успею только выпить чашку кофе и привести в порядок свое платье. На сон – ни минуты. На кого же я буду похож вечером? Хочешь сделать меня заранее безвредным? Пойдем завтра, а?

– Согласен! – воскликнул Модюи. – И посмотрю я на твою физиономию, когда ты увидишь мадемуазель Пик де Боньер. Это ее цирковое имя. Настоящего, кстати, даже я пока не знаю.

На следующий день они встретились возле внушительного, помпезного здания Олимпийского цирка¹², перед которым уже за час до начала представления толкалась толпа парижан.

Антуан появился с букетом цветов и своим уверенным видом бросил товарищу новый вызов.

Представление началось с великолепной сказочной феерии, где вместе с наездниками и танцовщицами на арене появились дрессированные газели и нежные, как хлопья январского снега, белые голуби, потом перед зрителями выступили «гладиаторы», конные и пешие, которые отчаянно сражались деревянными мечами и очень естественно «умирали», озаренные множеством факелов, разбросав по арене широчайшие алые плащи, словно разлив озера крови, затем пожилой красавец в камзоле с золотым шитьем заставил шестерку белых статных лошадок танцевать котильон и, к восторгу зрителей, раскланиваясь, становиться на передние колени, – и вот после всего этого другой красавец, в алой мантии сказочного принца и с лихими усами бывшего гусара, вышел на середину арены и вскричал звенящим фальцетом:

– А теперь вы увидите саму Ипполиту, царицу прекрасных и воинственных амазонок! Мадемуазель Пик де Боньер, жемчужина нашего цирка, покажет вам свое искусство!

Цирк зашумел. На арену выехали двенадцать всадниц на черных лошадях, всадниц, одетых в смешные посеребренные латы, похожие на круглые бочки, с отверстиями для рук и голов, с пышнейшими уборами из перьев на голове и с блестящими секирами, которые они на скаку принялись подкидывать и ловить, вертясь и перегибаясь в седлах.

Зазвучала барабанная дробь. Всадницы прекратили свои упражнения, расступились, окружив арену, и на середину ее вылетел белый как снег конь.

– Браво! – заорали в разных рядах зрители.

На коне, в ало-золотом седле, сидела девушка. На ней был белый хитон, короткий, как туника, его края лишь касались ее колен. Грудь была прикрыта золотистой пластиной, перехваченной стянутыми на спине шнурами. Над круглым золотым шлемом трепетали алые перья, а из-под шлема, рассыпаясь по плечам, закрывая всю спину, падали черные как ночь волосы.

– Хороша! – невольно вскрикнул Огюст, всматриваясь в девушку.

– Ага! – злорадно прошипел Антуан.

«Амазонки» на черных лошадях еще раз рысью обогнули арену и исчезли. А прекрасная Ипполита тронула поводья и пустила своего коня широким шагом по кругу. Круг, еще круг. Конь перешел с шага на рысь, потом на галоп. И вдруг оказалось, что всадница уже не сидит в седле, а стоит на нем, легко, едва касаясь его ногами. Цирк испустил глухое восхищенное:

¹² Олимпийский цирк был построен в Париже в 1807 г. братьями Л. и Э. Франкони.

«О-о-о!» В руках Ипполиты появился короткий золотистый меч, и она принялась им жонглировать. Она выделывала невероятные сальто, кружилась, танцевала на седле, а конь двигался все быстрее и быстрее...

Это было удивительное, фантастическое зрелище. Но вот показалось: оступается, падает... Нет, все то же: арена, конь, красавица...

– Господи Иисусе! – прошептал Огюст, не замечая, что рука его до боли сдавила в этот момент колено сидящего рядом Антуана.

– Бр-р-а-а-во!!! – взорвался громадный зал Олимпийского цирка.

Мадемуазель де Боньер уже стояла на освещенной арене, соскочив с коня и уронив к своим ногам золотой меч, а конь ее, которого она подозвала коротким свистком, опустил голову, тоже украшенную алым султаном, на ее влажное от пота плечо...

На несколько мгновений они застыли неподвижно, чтобы публика могла налюбоваться их красотой, затем девушка раскланялась во все стороны, подняла меч, снова коротко засвистела, и конь ринулся прочь от нее, но она догнала его, на бегу поравнялась с ним, вскочила в седло и унеслась прочь с арены под неистовый рев зрителей.

– Да-а! Хороша, черт возьми! – произнес Огюст, когда шум стал смолкать.

– То-то! – не скрывая торжества, усмехнулся Антуан. – Ну, так что ты скажешь? Одолеешь такую?

– Саму царицу амазонок Ипполиту? А что? – Синие глаза Монферрана смеялись. – Отказаться от нее было бы глупо! Но если ты уж очень влюблен...

– Нет, не ищи путей к отступлению! – Модюи вошел в азарт и заговорил довольно громко, не замечая сидящих вокруг людей. – Я же говорил тебе: давай поспорим! Будешь спорить?

– Буду! Но только на что, Тони?

– На ящик шампанского! Идет?

– А! Пусть так! – Огюст с размаху хлопнул ладонью по подставленной ладони Антуана, и они соединили пальцы. – Только учти: этим ты вынуждаешь меня выиграть – если я проиграю, то буду разорен дочи́ста...

Модюи засмеялся:

– И поделом тебе будет – не спорь. Ну так идем же: я познакомлю тебя с нею...

Когда они вошли в ее крошечную каморку-уборную, девушка сидела в глубоком кресле, спиной к двери, запрокинув головку с распущенными волосами на спинку кресла. Султан она сняла и дерзкий цирковой наряд спрятала под темно-синим атласным халатом.

– Кто там? – спросила она, не поворачивая головы.

Ее глубокий голос, низкий и мягкий, звучал почти сердито.

– Простите, мадемуазель, но вы позабыли сегодня запереться, – сказал с порога Модюи.

– А, это вы, Антуан! – уже другим тоном, дружелюбно, но холодно, проговорила артистка. – Добрый вечер, только предупреждаю, сегодня без провожаний: я устала.

– Жаль, жаль! – Антуан подошел к креслу и поманил за собой товарища. – А я хочу просить у вас позволения представить вам моего друга. Можно?

Девушка вскинула глаза на Модюи, ибо он уже навис над ее креслом и осторожно взвешивал на ладони черные струи ее волос.

– А кто ваш друг? – спросила она. – Опять какой-нибудь офицер?

– Нет, моя прелесть. Как и я, всего лишь архитектор. Позвольте же вам представить: мсье Огюст де Монферран.

– Как звучно! – воскликнула мадемуазель де Боньер и наконец обернулась ко второму своему гостю. – Я очень рада вам, мсье. Я...

Но слова застряли у нее в горле. Лицо, только что покрытое легким свежим румянцем, залила смертельная бледность, однако мгновение спустя оно вспыхнуло еще ярче, на щеках зацвели алые пятна, губы задрожали. Она вскочила с кресла, распахнув невольно свой халат,

открывая белый хитон амазонки. Руки ее вскинулись, протянулись вперед, и она вскрикнула, задыхаясь, захлебываясь смятением и восторгом:

– Анри?!

Огюст так и застыл перед нею, совершенно ничего не разумея. Он растерялся бы куда меньше, если бы встретил полное равнодушие или даже презрение. Что бы это могло значить? Что означает это имя, забытое имя его детства, в устах незнакомой женщины?

– Анри? – повторил он недоуменно. – Почему вы... Откуда вы знаете это мое имя, мадемуазель?

Девушка отшатнулась. Опять погас ее румянец, руки тотчас упали.

– Так вы не узнали меня? – произнесла она глухо, с таким отчаянием, что ему стало еще больше не по себе.

Но почти тотчас же наездница рассмеялась и, смеясь, опять упала в свое кресло.

– О, какая же я дуручка! Извините меня... Я думала, вы пришли именно ко мне, я думала, вы искали меня. Нелепая мысль! Извините.

И в это самое мгновение Огюст ее действительно узнал. Он вспомнил эти черные глаза странной формы, этот тонкий рот с губами, еще сохранившими отчасти полудетскую пухлость, этот взлет ресниц, эту гордую ненарочитую пластичность движений и царственную посадку головы. Он вспомнил ее голос.

– Элиза! – закричал он, бросаясь к креслу и, вопреки всяким приличиям, хватая девушку за руки. – Элиза Боннер! Святая Дева Мария! Это вы?!

– Узнал! – прошептала она и зажмурилась, но это не помогло: слезы пробились из-под ее век и потекли по щекам. – Узнал... Не сердитесь, пожалуйста, Анри, что я так... Но вы обещали меня найти!

– Как же я мог?! Откуда же я знал?! После ранения я не мог вспомнить даже названия городка, где мы встретились... Но я знал, Элиза, что мы все же увидимся, только не думал, что вы станете такой красавицей!

Человек никогда не лжет так убедительно и пылко, как в минуты волнения и душевного подъема, и, кроме того, Огюст даже не понимал до конца, что лжет. Название городка он, разумеется, помнил великолепно, а во всем остальном не так уж и сильно преувеличивал...

– Вот так штука! – воскликнул, опомнясь, Тони. – Так, выходит, вы знакомы давно?

– Это – моя спасительница, Антуан, моя маленькая Армида!¹³ Я же тебе рассказывал пять лет назад... Господи, вот это встреча, чтоб мне пропасть! Мог ли я думать, а?

– Могли ли вы думать, что я стану циркачкой? – смеясь и отирая слезы рукавом халата, спросила Элиза.

– Мне в голову не пришло бы искать вас здесь! – вполне уже искренно сказал Огюст. – И... И отчего вы мадемуазель Пик де Боньер?

– В цирке это принято. – Она встала, не отнимая у него своих рук, лишь в смущении скользнув глазами по распавшимся полам халата. – А вот отчего вы мсье де Монферран?

Он расхохотался:

– Да, это вы, вы – прежняя Элиза! Не знаю, как вам выразить... Я ужасно рад. Да что там – просто счастлив!

– И я не меньше, – проговорил Антуан, искусно скрывая досаду и незаметно пятясь к дверям. – Мадемуазель, напомните ему, когда он придет в себя, что это я его сюда привел. Ну а пока повремените с объятиями – дайте мне время достойно удалиться...

Он исчез.

¹³ Армида – героиня поэмы итальянского поэта Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим», а также некоторых других произведений эпохи Возрождения. Армида спасла раненого рыцаря и исцелила его.

Минуту, а может быть и две, Огюст и Элиза молчали. Потом он поцеловал ее руку и уже тихо, очень серьезно спросил:

– Ну а все-таки, что-то ведь случилось? В вашей жизни что-то произошло, да? Где ваши родные? Как вы попали в цирк?

– По доброй воле, – просто и спокойно ответила девушка. – По доброй воле, Анри. Три года назад я сбежала из дому с цирковым балаганом. Год назад попала сюда.

– Но почему? Но зачем вы это сделали? – вновь настойчиво спросил молодой человек. – Вам там было плохо?

Она улыбнулась:

– Здесь мне лучше. И потом, я мечтала оказаться в Париже.

Сказать больше она уже не могла. Но Огюст и так все понял.

– Вы искали меня? – спросил он.

– Да, – просто ответила Элиза.

И не отстранилась, когда он, рванувшись к ней, стремительно и жарко обнял ее.

VII

С этой ночи начались их странные, не до конца понятые ими самими отношения... Спокойно, с радостью Элиза отдалась человеку, которого любила все эти пять лет. А он почувствовал себя счастливым, совершенно счастливым, как в детстве, как в те далекие, упоительные минуты, когда его отец вскакивал в седло с маленьким Анри на плечах и посылал коня вскачь и небо мчалось над головой малыша... или когда его юная мать в своем белом кисейном платье, легком, как перистое облако, бегала за ним по цветущему весеннему скату холма, цветы щекотали ему лицо, а смех ее настигал и дразнил, подгоняя бежать, но вот теплые руки хватали его под мышки, вскидывали, и он, хохоча, барахтался у нее на груди...

Этих минут, в которых, как в вечности, хотелось утонуть и раствориться, было, как ему казалось теперь, слишком мало... Он стал забывать неповторимое чувство блаженства... И теперь испытал его вновь.

Окно Элизиной спальни выходило на узкую безлюдную улицу, за которой был сад. Темный, облетевший, он в это утро был просвечен насквозь множеством солнечных лучей и стал наряжен в своих убогих зимних лохмотьях.

На дороге оттаивали замерзшие ночью лужи, из луж пили воду взъерошенные воробьи. На них щурилась сытая рыжая кошка, вышедшая на прогулку и теперь лениво гревшаяся у садовой ограды.

Огюст выбросил было руки из-под одеяла, чтобы как следует потянуться и отогнать остатки сна, но его тут же пробрал щекочущий острый холод, и он поспешно нырнул под одеяло с головой.

– Ах ты, неженка! Хочешь, я затоплю печь? – Элиза рассмеялась.

– Не надо топить, я и так сейчас согреюсь! – Огюст высунул из-под одеяла лоб, глаза и кончик носа. – Мне утром всегда почему-то сначала холодно...

Элиза налила ему янтарного вина (она уже давно стояла у зеркала, расчесывая свои черные, прямые, как струи дождя, волосы, и, улыбаясь, радостно и восхищенно взглядывала на него):

– На, согрейся, неженка, если не хочешь, чтобы я затопила.

Потом, умывшись над маленьким фарфоровым тазом, он стал одеваться, опасливо отойдя подальше от окна.

– Не бойся. – Элиза, разогревая кофе на медной жаровенке, поглядела на него через плечо. – Тебя никто не увидит: под этим окном почти не бывает людей в это время года.

– Я и не боюсь. – Он взял с подзеркальника ее гребень и начал расчесывать свои упрямые кудри. – Мне-то чего бояться? Я тебя не хочу компрометировать.

– Ком-про-ме-ти-ро-вать? – В ее голосе и в тоне прозвучала насмешка. – Или ты думаешь, что цирковую наездницу кто-то считает порядочной девушкой? Вот ты, когда сюда со мной шел, что про меня думал?

Огюст покраснел. Он был не настолько испорчен, чтобы солгать в подобной ситуации.

– Какая разница, что я думал, когда шел сюда? Важно то, что я теперь думаю.

Она лишь чуть-чуть повернула голову, но он успел заметить ее легкую ласковую улыбку.

– Анри, я тебе очень благодарна, – тихо сказала она.

– За что? – искренне удивился молодой человек.

– Ну... За то, что ты такой добрый, нежный... И... Ведь тебе со мной было не хуже, чем с другими женщинами, да?

Он сзади обнял ее, перегнулся через ее плечо, провел губами по бархатной теплой щеке.

– Лиз, так хорошо, как с тобой, мне было только с одной-единственной женщиной. Ее звали Мария-Луиза.

Элиза вздрогнула, испуганно обернулась:

– Ты сказал «звали»? Ты оговорился?

– Нет. Когда ей было тридцать три года, а мне было семнадцать, она умерла. Это была моя мама.

– Мария-Луиза, – чуть слышно повторила девушка. – Я стану молиться за нее, Анри!

– Да, молись за нее, Элиза, ибо твои молитвы слышит Бог, я убедился в этом... Отец рано умер, а родня его ее очень обижала. Особенно мой дядя Роже... Их злило, что отец женился на дочери купца... Мои родственники, маленькие снобы, решили, что это мезальянс...

Элиза разлила кофе, поставила его на столик возле окна, достала печенье и засахаренные фрукты в вазочке богемского хрусталя.

– Садись, Анри, завтракать. Ты извини, еды у меня немного – я не ждала гостей... А скажи, отчего твои родственники не любили твою матушку? Я слышала не раз, что дворяне женились на простых девушках, правда редко...

Огюст засмеялся:

– Это все Роже. Другие бы промолчали. А он... Господи, прости, что так поминаю! Ты слышала такое выражение – «мещанин во дворянстве»?

– Да. И читала. Я за эти годы очень много успела прочитать, Анри. Я уже не так наивна, как была, когда мы познакомились. Но только при чем здесь твой дядя? Он же настоящий дворянин.

Он взял у нее чашечку кофе и, размешивая в нем сахар, весело посмотрел на девушку:

– Раз на то пошло, я нарисую тебе наше генеалогическое древо, чтобы ты знала, кто я и что. Прежде всего, Роже, царство ему небесное, любил повторять: «древний и славный род». Род и правда древний: Рикары, говорят, жили в Оверни чуть ли не со времен Людовика Одиннадцатого, и среди них бывали и славные вояки, и отчаянные наездники, и охотники, и моряки. Но только дворянским наш род не был, и фамилия сама об этом говорит. Дворянство получил мой прадед, его тоже звали Огюстом, и это вторая причина, отчего меня, единственного наследника рода, стали так называть. Однако же случай, сделавший прадеда дворянином, моя родня ото всех хранит в тайне. Отец поведал ее матери, а мать – мне, под самым строгим секретом.

Глаза Огюста смотрели насмешливо и загадочно, и Элиза не утерпела:

– А мне ты не расскажешь этот случай, Анри? Я никому-никому...

– Да? Допустим. Ну так слушай же. Многие в нашем роду были связаны с лошадьми. Мой отец служил в казарме берейтором, занятие как раз для бедного дворянина. Берейтором был и прадед, только ему повезло служить при дворе его величества Людовика Пятнадцатого. И вот как-то раз королевский двор выехал на охоту. Охотились где-то в Арденнском лесу. Красотою пышного охотничьего наряда блистала мадам де Помпадур¹⁴. Но ей случилось в этот день о чем-то повздорить с королем, и, обиженная, она ускакала одна в густую рощу, чтобы быстрой ездой остудить свой гнев. Не знаю уж, как это приключилось, но только конь ее понес, и маркиза не удержалась в седле. Она упала, но ножка ее застряла в стремях, и, если бы ее светлость не ухватила вовремя за край бархатной попоны, взбесившийся конь потащил бы ее голову по земле.

– Какой ужас! – ахнула Элиза.

– Да уж, думаю, она пережила тяжкие минуты, бедняжка-маркиза... Но ужаснее всего ей, как мне кажется, представлялась даже не возможность гибели, а неизбежность позора; конь нес ее прямо к тому месту, где расположились на берегу реки король и придворные, еще несколько минут, и они должны были ее увидеть, но в каком облике... О-о-о! И тут на пути бедной маркизы попался мой прадед, мсье Огюст Рикар. Он ехал верхом, ведя в поводу еще одну лошадь

¹⁴ Помпадур Жанна-Антуанетта Пуассон (1721–1764) – маркиза, знаменитая фаворитка Людовика XV.

для охотников. Увидев, в каком положении оказалась бедная женщина (а кто она такая, он и не подозревал), храбрый берейтор бросил повод запасной лошади, ринулся вскачь наперерез коню маркизы и сумел его остановить. И, только сняв с седла полумертвую наездницу, понял, кто это...

Маркиза поблагодарила его, разумеется намекнув, что, в случае если он окажется нескромен, ему придется умолкнуть навеки, затем она подарила ему перстень со своей ручки, попросила отыскать ее парик, сколько было возможно, привела себя в порядок и отправилась к королю. Не знаю уж, что она рассказала его величеству, но на другой день король вызвал к себе берейтора Рикара и, наградив его тысячей пистолей, пожаловал ему потомственное дворянство, однако повелел вернуться из Парижа в Овернь. Ну и как? Интересно тебе было это слушать?

– О, даже очень! – с настоящим восторгом проговорила Элиза. – Как будто из рыцарского романа история. Но ты открыл мне фамильную тайну. Отчего?

– А чтобы ты не ставила между нами стены, моя милая маленькая Лизетта!

И он, поймав ее руку, прижал к губам ее ладонь. Они допили кофе. Девушка вдруг стала серьезна и сидела задумавшись. Потом Огюст встал из-за столика:

– Мне, увы, пора. Я сегодня опоздаю на службу...

– А ты придешь еще? – спросила Элиза, словно не придавая значения его предыдущим словам.

– Конечно приду. Если можно, то даже сегодня. И между прочим, через неделю – мой день рождения, и я надеюсь на ваше общество, мадемуазель. Как-никак мне исполнится двадцать семь лет.

Элиза подняла брови:

– Двадцать семь! А мне осенью исполнилось восемнадцать... О, какой же ты старый, Анри!

– Ужасно! – Он обнял ее, притянул к себе и утонул лицом в ее волосах. – И как только ты смогла полюбить такого старика? Наверное, ты скоро меня разлюбишь!

– Непременно разлюблю, – пообещала Элиза и, отвечая на его поцелуй, неудержимо расхохоталась.

VIII

Минул январь, прошел февраль, наступил март.

В последнем отчаянном и бесплодном усилии сохранить империю и свою власть Наполеон спешно собирал новую армию. Слепо веруя в свою уже угасающую звезду, отвергая с упрямством безумца предложения мира, которыми тогда осыпали его монархи Европы, император готовил для новой бессмысленной бойни пятисоттысячную армию, последнюю армию империи. Полки формировались с необычайной быстротой. Но то были не прежние полки – о нет! Нарядные мундиры нелепо и жалко свисали с узких плеч новобранцев, кивера наезжали на лоб, смешно торчали над безусыми, не знавшими бритвы лицами. В армию были призваны уже не восемнадцатилетние юноши, а пятнадцати-шестнадцатилетние подростки...

Это были те самые дни, когда, тщетно пытаясь сломить упорство Наполеона, Меттерних¹⁵ задал ему свой страшный вопрос: «Ну а потом? Когда погибнут эти солдаты? Решитесь ли вы объявить новый набор?»

Извещение о призыве в когорты национальной гвардии Огюст де Монферран встретил внешне спокойно, ибо в душе был к этому готов. Однако втайне он испытывал смутение и ужас, не столько от возможности гибели, сколько от сознания полного крушения своих планов и надежд. Он видел обезлюдевший, опустевший Париж. Он понимал, что сбывается и, увы, сбудется скоро недавнее предсказание Персье и разоренная Франция надолго забудет о храмах и дворцах... Едва родившись, новый мир мог умереть, убитый одним из тех, кто некогда так его защищал...

Полковник Дюбуа, в чье распоряжение поступил сержант Монферран, поручил ему формирование 2-й Версальской роты и распорядился спешно догонять с нею уже выступивший в направлении Дрездена полк.

Огюсту оставалось два-три дня на улаживание своих дел в Париже, да ему, собственно, и нечего было улаживать. Он лишь договорился с Молино о возможном возвращении на службу, простился с родными, вызвав бурные слезы отчаяния у тетушки Жозефины, и последний вечер провел вдвоем с Элизой, перед тем лишь на два часа заглянув к Модюи и поздравив его с тем, что тот, как всегда, благополучно избежал призыва.

К этому времени между Огюстом и Элизой уже произошло несколько ссор. Часто бывая в цирке, он стал ревновать ее ко всем, кто выказывал юной наезднице свое бурное восхищение и поклонение, его бесило, что она продолжает допускать поклонников в свою уборную, он злился, находя в ее комнате привезенные кем-то цветы. Элиза отшучивалась в ответ на его колкие упреки, иногда пыталась серьезно объяснить ему, что это в жизни цирковой артистки неизбежно, однако он, внешне принимая ее объяснения, в душе злился еще сильнее. Злость его вольно или невольно подогревал Антуан, продолжавший открыто ухаживать за Элизой на правах друга, а порою как бы между прочим рассказывавший Огюсту о посещавших ее кавалерах и о том, сколь любезна она бывает с ними в отсутствие своего любовника.

Однажды он увидел на ее шее жемчужное ожерелье и, вспыхнув от подозрения, не постыдился спросить ее, откуда оно взялось. Мадемуазель де Боньер ответила, что давно уже купила его себе, но Огюст не поверил, и подозрение его превратилось в полнейшую уверенность, однако он не стал устраивать сцен и просто ушел в тот вечер к себе домой. На другой день он имел глупость показать свою досаду и ревность Антуану, и тот заметил, пожимая плечами:

¹⁵ *Меттерних Клеменс* (1773–1859) – австрийский государственный деятель, с 1809 г. – министр иностранных дел Австрии, первоначальный союзник Наполеона, затем участник коалиции европейских стран против него.

– Мальчик мой, ну а что в том такого? Она – звезда, а звезды светят всем. Ты же знал, кто она. Вот если жена станет тебе изменять, дело другое. У красавиц цирка не бывает ни первой, ни последней любви...

– Но я был первым и хочу остаться единственным! – в ярости воскликнул Огюст.

– Ты был первым? – поднял брови Тони. – Вот это новость! А ты уверен, что не ошибся?

После этих слов Огюст неожиданно для самого себя закатил другу оглушительную пощечину. Модюи вскочил, красный, как неостывший уголь, отчаянно выругался и закричал, что Огюст сошел с ума и что за такую выходку стоит его проучить...

В ответ на это Монферран сощурился и совершенно спокойно воскликнул:

– Дуэль? Изволь же, Тони! А ты не забыл, как я стреляю?

Антуан смешался:

– Я помню. Каска жандарма... Я помню, что ты спас мне жизнь.

И вместо того чтобы уйти, как он собирался сделать, Модюи с унылым видом забился в угол и погрузился в молчание, а через пять минут попросил у друга прощения. Огюст, уже жестоко раскаявшийся в своем поступке, с радостью простил его и в свою очередь попросил забыть о пощечине...

После этого случая молодой архитектор перестал изводить Элизу своей ревностью, он сделался весел и спокоен, но в этом спокойствии она угадала растущее охлаждение...

И все-таки, собираясь на войну, он пришел к ней последней.

– Будешь опять молиться за меня? – спросил он, играя ее распущенными по плечам черными волосами.

Она обняла его и поцеловала, так горячо, так испуганно и нежно, что он внезапно понял, как лживы и глупы были все его сомнения, и ему сделалось стыдно. Он стал целовать ее глаза, из которых готовы были пролиться слезы, и обещал ей то, чего обещать невозможно: что не будет убит.

– Я вернусь, и мы обвенчаемся! – уверял он, в эту минуту начисто забыв о мадемуазель Люси Шарло, своей невесте, о связях мсье Шарло, о позорном для невесты дворянина занятии Элизы.

– Я люблю тебя, Анри! – твердила Элиза, прижимаясь к нему, сдавливая в груди рыдания. – Я тебя люблю!

И он снова, как в первый день их близости, почувствовал себя счастливым.

А утром они расстались.

2-я Версальская рота присоединилась к армии под Дрезденом. И ее вместе с другими ротами, полками, бригадами закружило кровавое колесо войны.

После катастрофы под Лейпцигом, после чудовищной бойни, погубившей с обеих сторон более ста тридцати тысяч человек и окончательно разбившей веру французов в возможность победы, отступление французской армии превратилось почти в бегство. В армейских частях уже мало кто удивлялся дезертирству.

За десять месяцев сражений Огюст, как ему казалось, повзрослел на десять лет. Он увидел и испытал столько страшного, немыслимого, не укладывавшегося в его сознании, неприемлемого для его натуры, что его душа как будто отупела. Постоянный страх смерти, который он внешне никогда и никак не проявлял, сливаясь одним из самых отважных бойцов в полку Дюбуа, этот липкий, омерзительный страх до глубины заполнил все его существо и породил глухую злобу, вернее, некую почти истерическую ярость против нескончаемой кровавой вакханалии, к которой он, Огюст, строитель, созидатель, не имел и не желал иметь никакого отношения. Он стрелял без промаха, не раздумывая, будто в бреду или кошмаре, вскидывал и опускал саблю, а из глубины сознания в эти мгновения вдруг поднималась мысль: «Что же это?! За что?! За что меня, человека, заставляют убивать других людей?! А им за что меня убивать? Ни я им, ни они мне, никто из нас друг другу не мешает! Мне страшно!»

Он видел сражение под Лейпцигом, проявил в нем отвагу и был произведен в чин старшего квартирмейстера, но звание офицера штаба теперь не давало почти никаких преимуществ в бегущей армии...

Отупение Огюста внезапно исчезло, когда французская армия, преследуемая русско-австрийскими войсками, оказалась прижатой к реке Об возле Ла-Ротье. Это была уже земля Франции, и здесь Монферрану вспомнились вдруг слова Персье о том, что, погибая, Наполеон увлечет Францию за собою... Его охватил ужас, затмивший злобу и даже самый страх смерти, ее породивший. «Неужели все погибло?! Неужели погибла Франция?!» – поразила его новая, острая отчетливая мысль.

Сражение при Ла-Ротье состоялось первого февраля тысяча восемьсот четырнадцатого года и закончилось отступлением французов, за несколько часов потерявших четыре тысячи человек убитыми и около двух тысяч пленными.

Полк Дюбуа, к несчастью, оказался в стороне от Лесмона, где существовал единственный мост через стремительный Об, и был обречен на уничтожение.

Какой-то крестьянин, которого привели к полковнику разведчики, уверил его, что в нескольких милях выше по течению есть брод. Дюбуа великолепно понимал, что переходить ледяную стремительную реку смерти подобно, но то была еще смерть сомнительная, а настигавшая полк русская картечь несла смерть несомненную, и полковник решился. Густыми залпами, истратив последние патроны, он отбросил назад нажимавшие на него казачьи отряды и стремительным маршем двинул полк к названному крестьянином месту. Перед тем солдаты выдержали длительный бой, а весь день накануне непрерывно отступали, почти двое суток никто ничего не ел, однако страх заставил людей, едва передвигавших ноги, бегом броситься к своему спасению.

Монферран был в этот день при Дюбуа, ожидая, что его, как штабного офицера, могут отправить с донесением в соседнюю часть, однако полк с самого начала боя был отрезан от остальной армии, и послать никого никуда уже было нельзя, да в том и не было надобности. Дюбуа, старый вояка, как все истые солдаты, туповатый и бесхитростный, не выносил Огюста, видя в нем, во-первых, аристократа, во-вторых, «чертова умника» и, в-третьих, презренного щеголя. (Щегольство Монферрана выражалось исключительно в том, что в самых тяжких условиях боевого похода он умудрялся каждый день дочиста мыть шею, и воротник его мундира поэтому не был засален, а еще в том, что он имел несчастье однажды в присутствии полковника почистить ножичком ногти.) Дюбуа, правда, ценил его смелость, но терпеть не мог его манеры самостоятельно рассуждать. И в этот день Огюст весьма некстати проявил эту манеру.

Шагая рядом с полковником в авангарде пешего строя (в полку было всего несколько лошадей, и последние три пали этим утром), квартирмейстер заметил командиру, что в это время года брод на реке едва ли пригоден к переправе: зима была нехолодной, часто шли дожди. Об вздулся, неся как сумасшедший, куда уж было изнуренному отряду бороться с этой рекой?

Дюбуа, одолеваемый тревогой и без этого замечания, взорвался и заорал на своего подчиненного, будто на школьника, сразу вылив все скопившееся против него раздражение. Он орал, что воюет не первый десяток лет и что лучше какого-то мальчишки знает, что под силу его солдатам, а что нет, и дальше все в том же духе. Вzbешенный Огюст молча проглотил все эти оскорбления, но когда полковник язвительно спросил, не боится ли мсье квартирмейстер воду Оба слишком чисто отмыть свою шею, молодой человек совершенно спокойно ответил ему:

– Боюсь, что вода Оба смоет не только грязь с солдатских шей, но и перхоть с их волос, господин полковник, а ваша треуголка вместе со спрятанными в ней секретными документами, которые вы не догадались еще вчера отправить по назначению, поплывет вниз по реке, прямо к неприятелю.

Дюбуа закипел от ярости, но не успел вновь накинуться на Огюста. Из-за крутых уступов берега показалось как раз то самое место, к которому они стремились. Там, как и указывал крестьянин, почти возле самой воды сгрудились, заполняя естественную впадину (русло пересохшего ручья), длинные старые сараи, брошенный винный склад, а выше по берегу стояли несколько домиков, судя по всему тоже опустевших.

Полк, вернее, то, что от него оставалось, то есть чуть больше половины уцелевших солдат, кинулся к воде, не страшась ее холода. И тут же убедился в полной невозможности переправы: первые же шаги смельчаков заставили их погрузиться едва ли не по грудь.

– Этот крестьянин – изменник! Здесь вообще нет никакого брода! – завопили несколько голосов.

Наступил настоящий хаос. Обезумев, вопя и ругаясь, плача и хохоча, солдаты сшибли двери с сараев, ворвались в них и стали выкатывать оттуда оставшиеся бочки, но они оказались пусты, вина в них не было.

Дюбуа, поглядев на них, ничего не крикнул, не отдал ни одного приказа, только отвернулся и, опустив голову, безнадежно махнул рукой.

– Они не сумеют теперь даже достойно умереть на глазах этих варваров! – вырвалось у старого полковника.

Огюст, в первые мгновения не менее всех потрясенный происшедшим, услышав эти слова своего начальника, вдруг встрепенулся.

– Мсье, но ведь мы их намного обогнали! – воскликнул он, подойдя вплотную к Дюбуа. – Берег неровный, от их лошадей мало проку, они от нас отстали на час, а то и больше. Можно успеть переправиться.

Полковник резко вскинул голову и возмущенно посмотрел на квартирмейстера.

– У вас от страха помутился разум? – спросил он, кривясь. – Или вы думаете за час научить всех нас, грешных, летать?

– Это мне не под силу, – возразил Огюст. – А вот мост построить здесь можно за полчаса.

Услышав это, Дюбуа покраснел настолько, что лицо его сделалось ярче мундира.

– Послушайте, мсье ученый муж! – взревел он. – Ваша ученость, кажется, повредила ваше здоровье! Какой мост?! Где?! Вы видите, как широка река?! И из чего строить, черт бы вас побрал?! Да если бы и было из чего, любой мост строится ну хотя бы за несколько часов!

– Неправда! – Монферран не замечал оскорбительного тона командира и его обидных слов, ему было уже не до того: на глазах его погибал весь полк. – Неправда, мсье! Понтонный мост можно навести гораздо скорее.

– Пон-тон-ный?! – Дюбуа терял последние искры терпения. – А где вы возьмете понтоны, мсье сумасшедший?!!

– Да вот же они, смотрите!

И Огюст указал полковнику на пустые винные бочки. Полковник несколько мгновений недоуменно молчал, взирая на них, потом вдруг переменялся в лице.

– О Господи, как просто! – вырвалось у него. – Но... Но как их закрепить? Чем?

– Вережками, – быстро объяснил Монферран. – Обоз мы бросили, но веревок-то осталось полно, их захватили, слава Богу... На том берегу растут деревья, это избавит от необходимости вбивать столбы. А бочки надо просто пробивать с двух концов по днищам и нанизывать, как бусы. В два ряда. А на них доски хотя бы вон от того сарая, он не прогнит. Лошади по такому мосту и то прошли бы, а люди пройдут совсем легко.

– А продырявленные бочки не потонут? – задыхаясь, спросил Дюбуа.

На этот раз Огюст сам едва не вышел из терпения.

– Послушайте, полковник, вы когда-нибудь имели дело с физикой?

Дюбуа в свою очередь тоже не подумал обижаться. Он повернулся к метавшимся вдоль берега солдатам, часть из которых уже повалилась в разбросанное возле сараев сухое сено, и

прорычал тем тысячу раз знакомым им львиным рыком старого наполеоновского командира, который умел приводить в чувство даже самых неопытных бойцов, потерявших присутствие духа:

– Солдаты, слушайте команду! Панику прекратить! Всем встать в строй и приготовиться к постройке моста через Об. Слушать распоряжения старшего квартирмейстера!

Солдаты оторопели. Затем в массе их сразу произошла перемена. Испуганное стадо исчезло, и на берегу реки вновь собрался полк, растерзанный, изнуренный, но еще готовый к борьбе за жизнь.

– Разрешите начать? – спросил Огюст полковника.

– Начинайте! – ответил тот.

И вдруг ухватился за рукав мундира квартирмейстера и, сверху вниз заглядывая ему в лицо сверкающими, будто в лихорадке глазами, выдохнул:

– Орден Почетного легиона! Вы слышите, Монферран... Орден Почетного легиона, если вы это сделаете! Даю вам слово!

– Благодарю за честь! – коротко, как полагалось по уставу, ответил молодой человек и бегом кинулся к солдатам.

«Нанизывание» бочек на веревки продолжалось не более пятнадцати минут: вдохновленные возможностью спасения, солдаты работали, позабыв об усталости и голоде. Одновременно человек двадцать разбирали сарай и из досок нужной длины связывали своего рода «циновки», которые должно было затем настелить на двойной ряд бочек. Еще шесть человек поспешно вкапывали возле самой воды два высоких столба, чтобы укрепить веревки.

Когда «бусы» достигли нужной длины (а ширину реки Огюст довольно легко определил на глаз, ибо привык к такого рода измерениям и никогда в них не ошибался), солдатам снова был отдан приказ построиться.

Перенести конец веревки на другой берег и закрепить его на дереве Огюст решил сам. Он хорошо плавал, но прошло минут десять, прежде чем ему удалось, после отчаянной борьбы с течением, выбраться из ледяной воды... Когда он крепил веревку, его била дрожь...

Еще пять минут, и два ряда бочек закачались, по-змеиному изгибаясь между берегами Оба, и солдаты принялись лихорадочно укладывать на них доски.

Не дожидаясь, пока они закончат, Огюст, прыгая с бочки на бочку, рискуя соскользнуть и вновь выкупаться, вернулся на правый берег.

– Мой полковник... – начал он, приближаясь к Дюбуа и поднимая дрожащую руку к наспех надетому киверу, – докладываю, что...

Но Дюбуа, не дослушав, заключил его в объятия.

– Спасибо вам, мальчик мой, спасибо! Вы спасли полк. Взгляните на солдат: благодаря вам эти люди сегодня не умрут, а это немало. Ну а теперь готовьтесь принять на себя командование полком и довести его до остальных частей.

– Что? – не понял Огюст. – Вы сказали?..

Полковник положил руку на плечо молодого офицера и, стиснув пальцами эполет, быстро заговорил:

– Послушайте, Монферран, вы же знаете: вчерашние перестрелки и сегодняшний бой уничтожили почти половину полка, и все старшие офицеры, кроме меня, погибли или тяжело ранены. Кто-то должен здесь остаться, прикрыть отступление полка и уничтожить мост... А полк я доверяю вам. И сейчас отдаю приказание младшим офицерам передать командованию, что вы представлены мною к ордену Почетного легиона.

– Нет, полковник, – возразил Огюст, которого растрогали слова сварливого вояки, а сознание совершенного подвига наполнило новым мужеством. – Нет, вы не имеете права оставить полк.

– Напротив. – Дюбуа был мрачен и спокоен. – Я же поверил этому мерзавцу-крестьянину, я привел их всех сюда, не послушался ваших советов, и...

– И не приди мы к этим бочкам, все равно бы все погибли! Нет, вы напрасно себя вините, и в любом случае без вас солдаты не доберутся до нашего арьергарда. Разрешите мне остаться. Вы видели, как я плаваю, и мундир у меня все равно уже мокрый...

Дальнейшее разворачивалось с кошмарной и неправдоподобной быстротой.

Едва Монферран и отобранные полковником пятеро солдат заняли позицию под прикрытием брошенных крестьянских домишек на высоком горбу берега, как за деревьями негустого леса, подступавшего близко к реке, раздался конский топот и послышалось несколько выстрелов.

– Казаки! – воскликнул один из солдат, различив среди листвы уже знакомые всем русские мундиры.

– Не стрелять! – приказал квартирмейстер. – Пусть покажутся – у нас всего тридцать шесть патронов – последние...

Он оглянулся на реку. Сверху хорошо было видно, как тянется по тонкому, качающемуся мостику шеренга полка. Впереди тащились несколько пар солдат с носилками, они несли раненых, тех, что сумели вынести страшный переход.

«Если сверху казаки откроют по ним стрельбу, то перебьют многих, даже шальными пулями!» – подумал Монферран.

И вдруг подскочил на месте, пораженный неожиданной спасительной мыслью.

– Лонже! – крикнул он молодому солдату, который первым заметил казаков. – Быстро вниз! Вот вам огниво, и живо поджигайте солому! Поджигайте сараи! Дым закроет мост, и они ничего не увидят. Потом и нас прикроет дым! Ну, марш!

Молодой солдат прямо-таки скатился к сараям, и еще через минуту сено, доски, утлые трухлявые крыши бывших складов дружно занялись огнем.

В это время казачий отряд выскочил из леса и вскачь двинулся к домишкам.

– Огонь! – скомандовал Огюст.

Треснули шесть выстрелов, и на них ответил мощный ружейный залп, однако казаки стреляли вслепую и никого из французов не задели, тогда как трое из них свалились с лошадей.

В отряде произошло замешательство. Многие казаки осадил лошадей.

– Целься! Огонь! – снова крикнул квартирмейстер.

Опять затрещали выстрелы. Еще двое всадников упали, трое, очевидно, были ранены, ибо кони их вскинулись дыбом и сами они припали к седлам.

– Кто мажет?! – яростно прошипел Огюст. – Почему выстрелов шесть, а попаданий пять? Я вам помажу! Целься! Огонь!

Перезаряжая ружье, Огюст заметил, что из рукава его мундира стекает уже не мутноватая струйка воды, а что-то куда более темное.

«Тьфу ты, куда же меня цапнуло? – с досадой подумал он. – Локоть, кажется... Ах, не до того! Успеть бы только... Мост они уже перешли...»

И он опять закричал:

– Целься! Огонь! А теперь вниз, вниз, не то они нас здесь накроют! Вниз и за горящие сараи!

Расстреляв патроны до конца и уверившись, что полк Дюбуа исчез за рощей на левом берегу, Монферран принял решение отходить, ибо казаки уже спускались к воде, и одна минута промедления могла погубить шестерых французов.

– Быстро всем на тот берег! – приказал он солдатам. – И рубите канаты моста! Живо!

– А вы, мсье квартирмейстер? – спросил один из солдат.

– Без вопросов, черт возьми, когда вам приказывают! С этой стороны канаты тоже надо отрубить, не то бочки останутся господам русским, и они могут вновь навести мост! Вперед! Я переплыву реку и вас догоню. Дым меня прикроет...

Говоря это, он вытащил из-за пояса пистолет и сквозь просвет в клубах дыма выпустил последнюю пулю в приближающихся казаков.

Солдаты поспешно перешли Об по мосту, и когда последний из них, выскочив на берег, кинулся с ножом к веревочным креплениям, которые уже резали четверо его товарищей, Огюст обнажил саблю и что есть силы принялся рубить веревки на столбах. От пылающих сараев исходил жар, летели искры, и мокрый мундир молодого офицера за минуту почти совершенно высох. Он стал задыхаться в дыму, однако сумел перерубить все узлы и с облегчением увидел, что «бусы» из бочек быстро поплыли вниз по реке.



Тогда Огюст повернулся к воде и уже собирался снова нырнуть, тем более что теперь ему страстно хотелось ощутить холод реки, но на пути его внезапно появилась фигура с ружьем, и возле своего лица он увидел тусклую сталь штыка.

– Прочь с дороги! – закричал квартирмейстер, со всего плеча ударяя саблей по штыку.

От его яростного натиска казак отступил, споткнулся на неровном скате берега и опрокинулся навзничь. Он оказался прямо под ногами офицера, и тот занес саблю, собираясь нанести новый удар и очистить путь к реке, которая была теперь в двух шагах от него.

– Ма-а-ма! – вскрикнул вдруг звенящий мальчишеский голос.

И Огюст увидел перед собою, под своей занесенной рукой круглое, совершенно безусое лицо подростка с вытаращенными, вперенными в лезвие сабли голубыми глазами.

– А! Молокосос несчастный! Дома надо сидеть! – прорычал Монферран и, отведя саблю в сторону, прыжком обогнул скорченную на земле фигуру.

Но он опять не добежал до воды. На него, вынырнув из клубов дыма, накинулся здоровенный детина в офицерском мундире, с длинной саблей в руке. Его лицо, покрытое копотью, усатое, злое, выражало неистовую решимость.

Огюст понял, что все решится в несколько следующих мгновений, а его чутье, чутье уже бывалого, опытного воина, подсказало ему, что этот враг пощады не даст...

Русский офицер фехтовал великолепно, и уже после нескольких его выпадов квартирмейстеру пришлось отступить, и он оказался вплотную к пылающей стене сарая, часть которой уже рухнула, образуя огненный провал. Дальше некуда было отступать, и Огюст, видя, что противник превосходит его в искусстве владения саблей, решился на отчаянный ход. Сделав обманное движение, заставив врага широко шагнуть вперед и утратить таким образом свое преимущество в росте, квартирмейстер изо всей силы нанес удар по основанию его сабли, рассчитывая выбить ее у офицера. Страшная ошибка! Монферран слышал, но в эту минуту позабыл о небывалой прочности русских клинков. От удара лезвие его собственной сабли разлетелось пополам, в руке его остался обломок длиной в ладонь, а сам он от толчка и от неожиданности потерял равновесие и упал на спину, к счастью для себя, не в огонь, а в промежуток между двумя пылающими бревнами.

В этот миг он сам оказался в том же положении, в каком минуту назад был мальчишка-казак. Его противник взмахнул саблей и несколько мгновений смотрел на лежащего, будто прикидывая, куда поразить его длинным голубоватым лезвием. Огюст понял, что если он вскрикнет или сделает попытку заслониться от удара, то будет немедленно убит: враг словно ждал от него проявления малейшей слабости. И он не шелохнулся, спокойно глядя в искаженное ненавистью лицо офицера. Но наконец нервы его не выдержали, и он сказал, тщетно пытаясь перевести дыхание:

– Послушайте, мсье, мы с вами не в театре. Сцена затягивается. Рубите, наконец, или дайте мне встать.

Офицер тихо и хрипло выругался, затем отступил на полшага и чуть ниже опустил свою саблю.

– Вставайте! – проговорил он на довольно правильном французском языке.

Собрав остатки сил, Огюст поднялся на ноги. У него начала кружиться голова, и в сознание вдруг проникла мысль, полная безумного отчаяния: «Плен! Я в плену! Господи, да что же это такое?! Лучше бы он убил меня!»

Но дальнейшее тут же заставило его раскаяться в этой греховной мысли.

Офицер, держа саблю на уровне его груди, глухо спросил:

– Где полк? Куда делся полк?

– Перешел реку, – спокойно ответил Огюст.

– Каким образом? Здесь нет брода.

– По мосту. Видите веревки? Мы навели понтонный временный мост.

Офицер скрипнул зубами:

– Откуда взялись понтоны? У вас их не было!

– Зато в этих сараях были бочки, – довольно веселым тоном, сумев справиться с собою, проговорил Монферран. – Что же вы не велели вашим лазутчикам их убрать?

– Никто не думал, что французы бывают так изобретательны! – зло произнес офицер. – Кто это придумал?

– Я, – не раздумывая, с достоинством ответил молодой человек. – И я же приказал поджечь сарай, чтобы дым заслонил отступление полка.

– Ну так и получай же за весь полк, собака! – вдруг проговорил русский офицер. – Ты устроил это пекло, ты им и насладись! Быстро в сарай!

– Что вы сказали?!

Квартирмейстер не поверил своему слуху. За спиною его бушевала огненная буря, крыша сарая уже готова была рухнуть...

– Я что, забыл твой пороссячий язык?! – взревел офицер. – Нет, меня ему неплохо научили! Ступай в сарай, или я тебя проткну насквозь!

У Огюста потемнело в глазах. Ужас, отчаяние, возмущение, невероятная физическая слабость, сменившая лихорадочный подъем сил, едва не заставили его упасть в обморок, но он еще нашел в себе каплю воли и воскликнул:

– Опомнитесь, мсье! Я же военнопленный...

Но офицер словно не слышал. Его лицо в это мгновение выражало безумие.

– Паршивый трус! Ступай!

Отведя саблю в сторону, свободной рукой он толкнул пленника в проем горящей стены.

– На помощь! – крикнул Огюст, даже не соображая в этот момент, что звать ему решительно некого.

Новый удар, на этот раз по лицу, лишил его равновесия, и он почувствовал, что падает спиною вперед, навстречу языкам пламени. Сдавленный крик застрял в его горле.

И тут чьи-то очень сильные руки поймали его, подхватили под мышки и рывком оттащили в сторону. Над собою он увидел широкое грубое лицо солдата-казака, изуродованное оспой и двумя кривыми шрамами, пересекавшими его губы и левую щеку. Слева на мундире казака висел Георгиевский крест.

Казак, поддерживая обмякшее тело квартирмейстера, отступил еще на несколько шагов и опустил его на землю, в стороне от горящего сарая.

Офицер что-то резко крикнул казаку, негодуя на его поступок, и тот ответил тихо, одной лишь фразой, о смысле которой Огюст, не понимая ее, догадался:

– Это же живой человек, ваше благородие...

Офицер, вдруг смешавшись, отступил. С лица его сошла лихорадочная краска, он побледнел и сквозь зубы бросил солдату несколько фраз. Смысл их вновь остался для Огюста темен. Но выразительная жестикуляция говорившего позволила отчасти этот смысл угадать, а два взмаха рукой в сторону пленного убедили, что речь идет о нем.

– Ладно, Аверьянов. Не твое дело, ну да ладно... Посторожи его: это штабной, он может заинтересовать полковника.

С этими словами офицер развернулся на каблуках и размашисто пошел прочь.

Огюст с трудом встал на ноги. Его лихорадило. Он посмотрел в изъеденное оспой лицо казака и прошептал:

– Господи!.. Да как же сказать вам, чтобы вы поняли?! Вы...

– Да понимаю я, понимаю! – махнул рукою солдат, который, само собою, тоже ничего не понимал. – Ну и ладно... и слава Богу, что так! Ясное дело, легко ли помирать-то такому молоденькому?..

Жесты, мимика, голос солдата были так выразительны, так прост и доверчиво добр его взгляд, что незнакомый язык вновь показался Огюсту понятным, будто кто-то беззвучно переводил слова Аверьянова. А тот, заметив, что пленный, переступив с ноги на ногу, чуть качнулся в сторону, поспешно продолжил:

– Да вы бы сели, ваше благородие. Вон вас ажно шатает! Ну будет вам, успокойтесь... На поручика Крутова как уж найдет... Шальной! Да полно, полно, все образуется. Как у вас говорят-то? «Шер ами»?¹⁶ Ну, всё «шер ами» и будет, ваше благородие!

Огюст пытался слушать и дальше, но у него вдруг зазвенело в ушах. Уже теряя сознание, он успел почувствовать прикосновение к своей руке и смутно расслышать слова Аверьянова, обращенные к другому подошедшему казаку, смысла которых он вновь не понял:

– Гляди-ка, а он ранен! Весь рукав в крови...

И все потонуло в темноте.

¹⁶ «Шер ами» (cher amie). – Дорогой друг (*фр.*).

IX

Очнулся он, наверное, не меньше чем через час, потому что, открыв глаза, увидел еще дымящееся пожарище, низко стелющийся дым и фигуры казаков, бродивших с ведрами среди обугленных развалин.

Скосив глаза, Огюст увидел, что лежит на двух разостланных на земле холщовых мешках, укрытый грубым солдатским плащом. Под головой у него оказался полупустой походный ранец.

Молодой человек приподнял голову и почувствовал, что она тяжела, как камень. Этой противной тяжестью было налито все тело. Ко всему прочему квартирмейстера тут же начало мутить от голода, и он припомнил, что двое суток совершенно ничего не ел. Однако он оттолкнулся ладонями от земли и, подавляя слабость, заставил себя сесть.

Рядом с ним, на бугорке сидел солдат Аверьянов, прислонив ружье к плечу. Заметив обращенный на него взгляд Огюста, он добродушно улыбнулся, поднял свой ранец, засунул туда руку и, пошарив, вытащил свернутую тряпицу.

В ней оказались два крупных ломтя хлеба, меж ними нежно и аппетитно розовела полоска сала.

– Есть, поди, хотите, ваше благородие? – наверное, проговорил солдат, протягивая пленному угощение. – Подкрепитесь-ка, чем Бог послал.

Огюст не сказал, а выдохнул «спасибо» и поспешно схватил хлеб.

Но когда от обоих ломтей и от куска сала остались одни воспоминания, молодой человек вдруг подумал, что его спаситель ничего не оставил себе, и ему сделалось стыдно... Он указал Аверьянову на ранец, на него самого, поднес руку ко рту, точно что-то откусывал, и растерянно развел руками. Казак весело засмеялся:

– Да не помру! Хуже бывало... А вам на здоровье... Вон, щеки-то хоть зарумянились немного, не то как покойник лежал. А я все на вас глядел тут, ваше благородие, и до чего ж вы на Митьку, моего младшего братана, походите... Мы, трое старших в семье, в батьку пошли, а он один в матку, кудрявый да белобрысый, да с лица круглый и весноватый, как вот вы... А сразу-то я не разглядел этого: лицо у вас все в копоты было, чисто у арапа. Что вы смотрите так? Не понимаете? Знаю, что не понимаете, а сказать-то хочется...

В это время к ним подошел, волоча по земле саблю, какой-то нескладный солдат, и Монферран неожиданно узнал в нем того самого мальчишку, которого он недавно сбил с ног и чуть было не зарубил, когда пробивался к реке. Теперь он увидел, что казачий мундир висит на этом горе-вояке и что хоть он и высок ростом, но лицо у него совсем ребячье: ему едва ли было и четырнадцать лет.

Подойдя, мальчик остановился в почтительной и вместе с тем исполненной достоинства позе и, слегка поклонившись, на чистейшем французском языке пересказал Огюсту слова Аверьянова, а затем спросил:

– Мсье, как вы себя чувствуете?

– Благодарю, – стараясь не выдавать удивления, Огюст улыбнулся и, окончательно взяв себя в руки, встал. – С кем имею честь?

– Георгий Артаманцев, сын полковника, графа Артаманцева. Очень рад. И очень вам признателен, мсье, за ваше великодушие. Кто вы?

Все это было сказано столь серьезно, с таким светским выражением, что Монферран едва не рассмеялся, но сумел сдержаться и, поклонившись, в свою очередь представился юному вельможе, а затем спросил, для чего на нем оказался такой маскарад.

Мальчик покраснел и с досадой нахмурился:

– Глупо получилось, мсье... Я был в обозе. Я с отцом... вот уже год. Он давно обещал взять меня в сражение, но обещание не исполнял и не исполнял. А сегодня я взял в обозе казачий мундир и решил сам присоединиться к сражающимся. И вот что получилось... Могу я просить вас не рассказывать отцу о том, что я вступил в бой? Пускай он хотя бы подумает, что просто наблюдал. Вы не скажете, мсье?

– Слово чести! – по-прежнему героически удерживая смех, пообещал Монферран. – Не то как бы ваш отец не оторвал вам ушей...

Мальчик еще сильнее покраснел, у него даже задрожали губы, будто он готов был заплакать от досады, но тут над берегом послышался конский топот, и кто-то закричал:

– Полковник едет! Полковник!

Казачи покидали ведра и все встали навтыжку. Еще минута, и возле пожарища осадил коня красавец-офицер лет сорока, в покрытом пороховой копотью мундире с несколькими боевыми орденами, мерцавшими на груди. Следом за ним, тоже верхом на лошади, с берега спускался поручик Крутов.

– Папенька! – воскликнул Георгий и подскочил было к полковнику, однако остановился, внезапно оробев под суровым отцовским взглядом. О смысле дальнейшего диалога отца с сыном Огюст мог легко догадаться.

– Мы после поговорим с тобою, Жорж! – произнес полковник, с невыразимым облегчением переведя дыхание. – Замечу тебе только, что твое поведение недостойно и неумно... И изволь сейчас отойти и не мешать мне. Поручик, где ваш пленный?

– Вот он, господин полковник. – Крутов кивком головы указал командиру на Огюста. – Мост через Об – его выдумка.

– Неужели? – Улыбаясь с некоторым недоумением, Артаманцев подошел к квартирмейстеру и заговорил по-французски. – Неужели, мсье, вы за час сумели навести мост через реку?

– За полчаса, – поправил Монферран. – Мне помогли бочки из того склада.

Полковник несколько минут разглядывал уцелевшие опорные столбы и обрывки веревок на них, затем тихонько присвистнул:

– Прямо-таки гениально придумано! Как ваше имя, квартирмейстер?

Огюст назвал себя.

– Хм! А я уж думал, не прозвучит ли какая-нибудь известная фамилия... Вы инженер?

– И инженер тоже, мсье. Но только чуть больше того. Я архитектор. Служил в Париже под началом главного архитектора мсье Молино.

Артаманцев улыбнулся невеселой улыбкой:

– Господину Бонапарту следовало бы беречь таких талантливых людей. Рад знакомству с вами, мсье де Монферран. Я – граф Петр Артаманцев.

И полковник протянул руку для рукопожатия.

– Времена для Франции наступают не лучшие, – продолжал он, непринужденно беря под руку своего пленника и усаживаясь с ним рядом все на те же разостланные мешки, словно то был дорогой персидский ковер. – Сейчас едва ли у вас будут строить. Но времена меняются, в конце концов. Мне кажется, вы будете знамениты.

– Где? – не выдержав, печально усмехнулся Огюст. – У вас в Сибири, или как она там называется?

– Ну отчего так мрачно? – засмеялся полковник.

– Оттого, что веселиться мне не с чего, мсье! – пожав плечами, проговорил молодой человек. – Я всего лишь младший штабной офицер и ни для кого ни на вашей, ни на нашей стороне не представляю ценности, так что судьба моя незавидна.

В это время к отцу быстро подошел Георгий и что-то стал говорить ему по-русски. Слушая его, полковник помрачнел и даже немного побледнел, затем резко оборвал сына, сказав что-то вроде:

– Самонадеянный, невыдержанный мальчишка! Поди от меня, пока я тебя не позову, но только держись поблизости! Уж я потом тебе покажу за такое самовольство...

И по-французски вновь обратился к Монферрану:

– Мсье, мой сын кидался на вас и грозил штыком?

– Да, и я чуть было его не убил...

– Боже правый! – Полковник побледнел еще сильнее. – Тринадцать с лишним лет дуралеку, и никакого ума... Простите. Зря я взял его. Но что делать? Сам ведь и воспитываю всю жизнь: жена скончалась от родов, вот он мне и достался. Да... Послушайте, квартирмейстер, вы верхом, вероятно, ездите хорошо?

Огюст кивнул:

– Я – кавалерист. Но за неимением лошадей служил и в пешем строю.

– Все ясно. Ниже по течению, там, где река уже, наши саперы наводят мост. Так быстро, как вы, они не справятся, но все же, полагаю, часа через два он будет готов. Я хочу попросить вас отвезти пакет вашему полковому командиру. Заметьте, я даже не спрашиваю вас, как его зовут.

Монферрану показалось, что он ослушался.

– То есть... как отвезти?

– Так. Мы будем переправляться утром. А вы до утра, наверное, догоните арьергард своей армии и найдете свой полк. Лошадь я вам дам.

– Боже мой! – вырвалось у Огюста.

Он не мог и не хотел скрывать своей сумасшедшей радости. После всего пережитого она обрушилась на него как водопад.

– Но я вижу, у вас рука перевязана, – сказал Артаманцев. – Вы ранены?

– О, это пустяки! Клянусь вам, пустяки! – прошептал квартирмейстер. – Уверяю вас, я не упаду с седла.

Час спустя Огюсту был вручен пакет и приведена лошадь. Полковник приказал поручику Крутову проводить Монферрана до переправы и передать солдатам его, полковника, приказ пропустить пленного на ту сторону Оба.

– Ну и прощайте, – проговорил Артаманцев, вновь пожимая руку молодому архитектору. – Спасибо за сына. И надеюсь, что мне не придется убить вас в бою.

– И я надеюсь на то же! – Огюст отдал честь полковнику и вскочил в седло.

До переправы квартирмейстер и его провожатый ехали молча. Огюст немного опередил поручика и не оглядывался. Он не испытывал страха, но смотреть на Крутова ему не хотелось. Однако тот спустя некоторое время окликнул его:

– Мсье, послушайте!..

Огюст обернулся:

– Слушаю.

– Вы, вероятно, сочли меня сумасшедшим?

– Это лучшее, что я мог о вас подумать, – сухо ответил Монферран.

Крутов пожал плечами:

– Что же... может быть. У меня случаются затмения, и в такие минуты мне с собой не совладать. В двенадцатом году у меня в Москве заживо сгорела мать. Понимаете?

– О Господи! – вскрикнул Огюст.

– Вы были в Москве? – спросил поручик.

– Если я скажу «нет», вы снова назовете меня трусом...

– Я назвал вас трусом? Ах да, верно... И кажется, ударил по лицу... Вы согласны принять мои извинения, мсье? Если нет, я к вашим услугам, хоть я и видел, что стреляете вы без промаха.

Огюст улыбнулся:

– Будь моя воля, я никогда не стрелял бы в людей! Я извиняю вас, поручик, и мне, честное слово, легче это сделать, чем вам забыть вашу ненависть...

Утром следующего дня Монферран отыскал отступающий полк Дюбуа. Старый полковник, увидев его, услышав его рассказ, едва не потерял голову от радости.

– Хотя все это смахивает на чудо, – воскликнул он, – я все равно рад. А что за пакет вы мне привезли? Что в нем?

– Я не знаю. Артаманцев не сказал мне, а задавать вопросов младший офицер не должен, – пожал плечами Монферран и подал командиру пакет.

Дюбуа сломал печати, вынул из конверта сложенный твердый лист, разогнул его и прочитал несколько строчек, написанных изящным почерком графа Артаманцева.

Довожу до сведения господина полкового командира, что ваш подчиненный, квартирмейстер Огюст Рикар де Монферран, показал подлинный талант при создании понтонного моста через Об и проявил истинный героизм, прикрывая Ваше отступление. Свидетельствуя это, смею рекомендовать Вам представить его к боевой награде, ибо избавить его от военной службы и сохранить его талант для Франции не в Вашей непосредственной власти.

С величайшим уважением и с надеждой вскоре снова Вас догнать, полковник граф Петр Артаманцев.

Х

– Так поднимем же бокалы за то, дорогие мои, чтобы продлились эти счастливые дни и эта первая мирная весна сменилась таким же мирным летом, мирной осенью, мирной зимою, а затем наступили долгие мирные годы, и на наших полях снова рос бы хлеб, а не валялись трупы, и наши женщины не оплакивали бы больше своих несчастных сыновей! Выпьем за наших великодушных победителей, за великого русского императора, который подобно древнему рыцарю взял под свою защиту истерзанный Париж... Да продлит Господь дни его! Виват!

И с этими словами Пьер Шарло до дна опрокинул свой бокал и так энергично встряхнул его над столом, что последние капли шампанского брызнули на скатерть и на грудь мсье Шарло, украсив золотыми искрами его белую кокарду.

За столом снова наступило необычайное оживление, все стали чокаяться, хваля хозяйский тост, дамы поспешно заедали вино изюмом и сушеными абрикосами, мужчины решительно налили себе по второму бокалу. Всем было действительно весело и как-то по-новому легко.

Мадам Шарло, очень изящная сорокапятилетняя дама в несколько смелом для ее лет туалете, с восхищением посмотрела на своего супруга и проговорила:

– Я слышала, что император Александр – человек очень ученый и начитанный. Говорят, он с удовольствием беседует с поэтами, художниками, ему, говорят, близко и понятно наше искусство.

– Всем образованным русским оно близко и понятно, – вмешался в разговор Антуан Модюи, только сегодня введенный своим другом в дом Шарло, но уже чувствующий себя здесь вполне свободно. – Русские дворяне воспитаны на французской культуре, ибо своей у них нет и никогда не было.

– Извини меня, Тони, но мне кажется, ты не прав. – Огюст оторвался от скромного созерцания пальчиков мадемуазель Шарло, лежавших на краю стола, поставил свой бокал и поднял глаза к порозовевшему от шампанского лицу Антуана. – Я не видел России, не знаю ее, но у меня есть возражения против твоих слов.

– То есть? – поднял брови Антуан.

– Не могу судить, есть ли в России литература, например, я русского языка не знаю (но и ты не знаешь его!), а вот архитектура, если уж на то пошло, была у них и до преобразования России императором Петром. Я видел альбомы и зарисовки некоторых путешественников. Они произвели на меня неотразимое впечатление. Храмы Москвы, Киева и... (о Боже, как его?) Владимира, если правильно произношу, – все они интересны, они, по-моему, талантливо задуманы и выстроены, хотя никто даже толком и не знает, кто их строил. То была предтеча нынешнего великого взлета России, ее приобщение к Византии стало началом грядущего приобщения к Европе.

– Возможно, и с этим я не буду спорить. – Модюи слушал друга с некоторым удивлением. – Но, Огюст, согласишься, что Россию нынешнюю сделали мы. Да ведь столицу России, блистательный Санкт-Петербург, от начала до конца строили и строят немцы, итальянцы и французы. Французы больше всех. О какой же своей архитектуре могут они говорить?

– Нет, это не так! – еще решительнее возразил Монферран. – Прежде и я так думал, но мне недавно показали несколько графических листов... Оказывается, в Петербурге построен недавно великолепный собор, Казанский, кажется, да? И его строил русский архитектор. Но вот фамилию его мне не выговорить.

– Во-ро-ни-хин, – по складам произнес Модюи. – Знаю я этого выскочку, имел счастье видеть. Да, он не лишен таланта. Но, во-первых, он учился во Франции, а во-вторых, собор его, если уж так, – маленькая копия собора Святого Петра в Риме.

– Позволь, это неправда! – распалившись, вскричал Огюст, даже не замечая восторженного взгляда, которым в это время сжигала его Люси Шарло. – Я видел изображение петербургского собора, и я с тобой не согласен: условное сходство абсолютно ничего не значит, а объем, пропорции, вся архитектура там самостоятельны, я же разбираюсь в этом не хуже тебя! Считать этот собор копией – значит ни черта не видеть!

– Позвольте, позвольте! – наконец вторгся в спор приятелей хозяин дома. – Это уже слишком. Мало того что вы кидаетесь словечками, нам вовсе не понятными, любезные господа, – словечками вроде «архитектура» и тому подобное, так вы еще и ругаться тут начали. Я вам запрещаю – здесь дамы...

Оба молодых человека, опомнившись, извинились перед хозяйкой и Люси и, разумеется, получили прощение.

– Надо же! – Мадемуазель Люси нежно и стыдливо улыбнулась Монферрану. – Как мсье Огюст отстаивает Россию... Будто у него там есть друзья...

– Нет, дело не в том! – Мсье Шарло загадочно улыбнулся. – Однако я чувствую, что пришла пора мне кое о чем вам рассказать, не то вижу, никто из вас ничего не знает. Кажется, даже мсье Модюи.

– А что я должен знать? – Антуан удивленно посмотрел сначала на хозяина, потом на внезапно покрасневшего Огюста. – В чем дело-то?

И так как Огюст молчал, почему-то все сильнее краснея, то мсье Пьер Шарло фамильярно хлопнул его по плечу и проговорил:

– Дорогие мои, три дня тому назад произошло событие удивительное, и я вам о нем хочу рассказать. Мы только что пили за здоровье русского императора, так вот о нем и пойдет речь...

– Об императоре Александре?! – Мадам Шарло даже выронила из рук вилку с кусочком рыбы. – Вы что-то узнали, дорогой, интересное о нем?! О, расскажите поскорее!

– Его величество русский император, – улыбаясь, продолжал Пьер Шарло, – третьего дня прогуливался по Люксембургскому саду в обществе князя Талейрана¹⁷, графа Витроля¹⁸ и еще кого-то из своей свиты. Вдруг его величеству сообщают, что к нему просит быть допущенным некий молодой человек. Император, этот отважный витязь, отринув мысль о возможном заговоре, помня, что взял Париж в честном сражении, и не веря в коварство французов, разрешает допустить к своей персоне этого незнакомца. И перед ним появляется никому не известный молодой парижанин, белокурый и кудрявый, как Эндимион...¹⁹

– И курносый, как Силен!²⁰ – вставил Огюст, от смеха закрывая лицо руками и продолжая краснеть до совершенно пунцового цвета.

– Бог мой, так это были вы?! – вскричала пораженная Люси, так и подскакивая на своем стуле. – Вы видели его?!

– Да подожди же, дочка, не прерывай меня! – грозно сверкнул глазами хозяин дома. – Дайте мне договорить. И вы, мсье, раз уж сразу не рассказали всего сами, теперь помолчите.

– Да вы-то откуда это знаете, а? – жалобно спросил Монферран.

– Я знаю все! – величественно изрек хозяин. – И будет вам мешать мне. Итак, император видит перед собою незнакомца и на груди его замечает, к некоторому своему недоумению, орден Почетного легиона. Кстати, он и сейчас на нем. Огюст, для чего такой вызов? Зачем вы его носите?

¹⁷ *Талейран Шарль Морис* (1754–1838) – французский политический деятель эпохи Великой французской революции, Наполеона, Людовика XVIII, Луи-Филиппа.

¹⁸ *Граф Витроль* – роялист, посредник между Талейраном и императором Александром во время боевых действий 1813–1814 гг.

¹⁹ *Эндимион* – в древнегреческой мифологии – возлюбленный богини Селены (Луны), юноша необычайной красоты.

²⁰ *Силен* – спутник и наставник бога вина и основателя виноделия Диониса, смешной курносый старец.

Молодой человек довольно резко повернулся к своему предполагаемому тестю и не менее резко проговорил:

– Этого ордена никто еще не упразднил. И думаю, никто не упразднит. Я имею право его носить и буду носить, и это – мое дело!

– О, Огюст! – в один голос с великим восторгом прошептали обе дамы.

– Но зачем тебя понесло к русскому императору, да еще с крестом Почетного легиона? – спросил Модюи, поморщившись, ибо слова товарища показались ему слишком пылкими и возвышенными, этого он уже не понимал.

– Я вам все расскажу, слушайте же! – возмущенно возопил мсье Шарло, кажется не обиженный словами Монферрана и недовольный лишь тем, что ему не давали говорить. – Словом, русский император оценил смелость нашего друга и улыбнулся ему. Тогда незнакомец поклонился и сказал его величеству, что он – простой француз, парижский архитектор, что ему известно об интересе его величества к искусству и что он недавно подготовил несколько проектов, которые, возможно, могут вызвать интерес великого императора, а потому он (и тут наш герой наконец себя называет!), потому он смеет преподнести в дар его величеству альбом своих проектов. Ну и преподносит сей альбом с низким поклоном. Император принимает подарок, весьма приветливо говорит с дерзким гостем (ну согласитесь же, что такой поступок все же дерзость!) и обещает в ближайшие дни сообщить свое мнение о даровании парижского Аполлодора²¹.

– И вам уже известно, что он затем сообщил дерзкому гостю? – спросил Монферран, улыбнувшись млеющей от восторга Люси.

– Как?! – Хозяин даже схватился рукой за сердце. – Вы уже получили ответ?

– Император Александр тебе ответил?! – вскричал, вскакивая со своего места, Модюи.

– Ответил сегодня утром, – не меняя тона, очень негромко, но с тайным торжеством сказал Огюст. – Вот, извольте, раз уж речь об этом зашла.

И, вытащив из нагрудного кармана, над которым вызывающе покачивался его орден, узкий белый конверт с изображенным в уголке двуглавым орлом, молодой человек положил его перед Шарло, однако Антуан, в волнении позабыв всякие приличия, подхватил его первым и, вытащив из конверта лист тонкой ароматной бумаги, вслух прочитал дрожащим от напряжения голосом:

Мы, император Александр I, ознакомившись с проектами господина де Монферрана и найдя их в высшей степени интересными, весьма талантливыми и не лишенными новизны и смелости, высказываем свое одобрение автору и благодарим за его подарок, полагая в дальнейшем, возможно, использовать кое-что из этих проектов либо сохранить их у себя как образец для других возможных архитектурных планов. Если господин де Монферран имеет намерение в будущем приехать для работы в Россию, то нам представляется талант его для России весьма полезным.

Наше императорское величество
Александр I.

– Боже, как любезно написано! – вскричала мадам Шарло, захлопав в ладоши, а ее муж, читавший послание через плечо Антуана, проговорил, розовея от удовольствия:

– Это великолепно, мой мальчик, великолепно! Это открывает перед вами прекрасные перспективы...

²¹ Аполлодор Дамасский (II в. н. э.) – крупнейший римский архитектор и военный инженер. Работал при императорах Траяне и Адриане.

– Да, ты теперь можешь получить официальное приглашение в Россию, – помедлив, сказал Модюи. – Тебе надо только вовремя напомнить о себе Александру. Ты сам додумался до этого?

Монферран заколебался было, но потом, улыбнувшись, пожал плечами:

– Я еще не так искушен и уже не так дерзок, Тони. Мне посоветовали, разумеется, ну а от кого исходил совет, ты, подумав, и сам догадаешься.

– Персье? – спросил Антуан.

– Я не называл имен, – покачал головой Огюст. – Да и к чему имена? Мне посоветовал человек, который верит, что я талантлив.

– А мне ты не покажешь того, что в этом альбоме? – Голос Антуана сделался горяч и жаден от внутреннего волнения. – У тебя ведь есть хотя бы эскизы?

Монферран встал со стула, подошел к высокому зеркалу в глубине гостиной, взял с подзеркальника кожаную потертую папку и, раскрыв, передал подошедшему Модюи²².

– Вот. Посмотри, тут все, кажется. Я почти на ходу это все придумывал, за три-четыре дня, так что это даже и не эскизы, а так, наброски, игра воображения. По ним сделал уже готовые проекты. У меня же сразу мысли такой не было, сделать подарок русскому императору. Только вот эта арка, эта вот, видишь? Она была задумана раньше. Глупо, но мысль о ней пришла во время войны. Уж очень здорово дралась русская армия, и мне пришло в голову, что храбрецы эти достойны триумфальной арки, как, впрочем, и наши.

– А что за надпись на ней? – спросила мадам Шарло, тотчас подбежав к Модюи и нагнувшись над его локтем. – Это по-гречески, да, мсье Огюст?

– Это по-русски, – рассмеялся молодой человек. – У них греческий алфавит. Мне перевели эту фразу. Здесь написано: «Храброму русскому воинству».

– О, очень мило! – И дама с восторгом посмотрела на молодого архитектора. – Вы очень умны и дальновидны!

– Даже слишком! – буркнул Модюи, не отрываясь от рисунков, на которые смотрел с изумлением и едва ли не с гневом.

Огюст заметил этот взгляд и наивно приписал его патристическому негодованию Антуана. У него неприятно дрогнуло сердце, он готов был уже ответить на возможное замечание друга, однако его вслед за мамашей атаковала Люси Шарло:

– Да, Огюст, милый, вы что же, в самом деле решили ехать в Россию?!

– Что вы, разумеется нет! – совершенно искренно ответил молодой человек. – Просто мне хотелось бы, чтобы русский император действительно воспользовался хоть чем-нибудь из моих предложений, тогда и здесь у меня появилось бы сразу громкое имя. Во Франции-то строить в ближайшее время будут мало. Не до дворцов... Ну и одобрение Александра, это его письмо, немало стоит или, вернее, будет стоять в будущем. Нет, я не хочу в Россию, мадемуазель, хотя тот, кто дал мне благой совет, утверждает, что это было бы для меня лучше всего.

– Ну так это определенно Шарль Персье! – воскликнул Модюи и наконец поднял глаза на своего друга. – Но послушай, Огюст, скажи честно: ты действительно все это придумал за несколько дней?

– Дня за три-четыре, я же говорю тебе.

– И это целиком твои идеи? Тебе никто не помогал? – Антуан уже не в силах был скрывать дрожь в голосе. Он захлопнул папку, бросил ее на подзеркальник и начал мерить шагами комнату.

Огюст вдруг понял, что это означает и что означал взгляд, принятый им за благородное негодование патриота-француза...

²² Факт преподнесения Монферраном альбома своих проектов императору Александру I достоверно известен. Упоминаемые далее проекты действительно содержатся в этом альбоме.

– Тони! – Он, улыбаясь, подошел к своему другу и взял его под руку. – Да что ты так удивляешься, Тони?.. Ну я же практик, у меня давно уже большая практика, стало быть, я умею быстро ставить задачу и находить нужное решение, почти как в математике. Только там цифры, а здесь формы, линии, композиции.

– Нет, это все равно невозможно! – прошептал Антуан (он невольно взял и стиснул до боли руку Огюста). – Невозможно так быстро и так хорошо! Восемь проектов, и все так интересные, так... – И он выдал слово, которое жгло ему язык: – Так превосходны!

– А мне не все они одинаково нравятся, – пожал плечами Монферран.

– Боже мой, памятник генералу Моро!²³ – вскричала мадам Шарло. – Ах, ну конечно, ведь император Александр глубоко его почитает...

– Его глубоко почитаю и я, – просто сказал Огюст. – Что бы ни говорили о нем, по-моему, он настоящий герой Франции, и если в конце жизни он совершил ошибку, то, черт возьми, их совершают все, но не все перед тем совершают столько подвигов, а потом рискуют жизнью во имя Родины и добрым именем во имя совести.

– Ура генералу Моро! – вскричал Пьер Шарло и кинулся наполнять бокалы.

Застолье продолжалось и стало еще более оживленным. К пирующим присоединилась, вернувшись с прогулки, Луиза, младшая дочь Пьера Шарло, лукавая болтушка, такая же глупенькая, как Люси, но, пожалуй, более непосредственная и оттого более привлекательная. После ее появления смех за столом уже не умолкал.

Однако Модюи вдруг поскуучнел, его одолела задумчивость, и вскоре он под каким-то предлогом исчез. Еще через некоторое время начал откланиваться и Огюст.

– Я провожу вас, друг мой, – сказал мсье Пьер, поднимаясь из-за стола.

Когда они, пройдя обширную прихожую, оказались на широкой деревянной лестнице старого купеческого дома, Шарло взял своего гостя под руку и проговорил, став вдруг очень серьезным:

– Огюст, я хотел бы напомнить вам, что сегодня вы в третий раз посетили мой дом, то есть посетили его не с какой-либо целью, а как наш друг...

– Да, и я очень рад, что становлюсь вам другом, а не просто знакомым! – улыбнувшись, ответил молодой архитектор, хотя отлично понял, к чему произносится это вступление.

– Но вы же понимаете, – продолжал Шарло, – что раз вы к нам ходите как друг, то окружающие станут делать из этого выводы... Вы же знакомы не только со мной и с мадам Шарло... Кроме того, Люси так простодушна, что уже рассказала о вас многим своим подругам. Словом, вы понимаете, пора делать официальное предложение.

– Я собираюсь вскоре просить у вас руки мадемуазель Люси, – искусно подавив вздох, сказал Огюст.

– А надобно не вскоре, а в ближайшие дни! – воскликнул уже почти сурово мсье Пьер. – Понимаете, мсье, жених Луизы торопит с обручением, он юноша пылкий, весьма пылкий... А его отец напомнил мне, что ни за что не согласится на обручение сына с Луизой прежде, чем обручится моя старшая дочь. Поэтому я и тороплю вас, хотя не понимаю, отчего вы сами не торопитесь... Ведь вы любите Люси?

– Я много раз вам об этом говорил!

²³ *Моро Жан-Виктор* (1763–1813) – французский генерал, знаменитый полководец республики. Опасаясь его популярности, Наполеон, воспользовавшись его связью с генералом Пишегрю, обвинил его в причастности к заговору 1803 г. Однако слава Моро была столь велика, что суд приговорил его лишь к двум годам заключения. Выйдя из тюрьмы, Моро вынужден был эмигрировать за границу. Патриот Франции, убежденный республиканец, он был противником тирании Наполеона и в 1812 г. принял предложение Александра I выступить в составе союзных войск против Бонапарта. Смертельно раненный в сражении, Моро страдал лишь от того, что гибнет среди врагов Франции, сраженный французским ядром. По приказу императора Александра его прах был привезен в Санкт-Петербург и погребен в церкви Св. Екатерины на Невском проспекте.

– Ну так вот и докажите это на деле, мой мальчик... Ну а я буду рад своими скромными услугами доказать вам отцовскую любовь. Коль скоро вы не собираетесь в Россию, здесь, во Франции, вам пригодятся мои возможности...

От этого довольно неделикатного напоминания о деловой стороне вопроса Огюста слегка передернуло, и мсье Пьер поспешил добавить:

– Да, уважаемый, я не скрываю, что хочу и буду вам помогать. В конце концов, в наше время без этого не обойдешься. И мне нравится, что вы обнаруживаете, в свою очередь, прекрасные деловые качества. Итак, когда вы собираетесь обручиться с Люси?

Монферран задумался на несколько секунд, потом ответил:

– Через пару месяцев, мсье. Молино, возможно, вскоре отошлет меня на какие-то работы в окрестностях Парижа, но, вернувшись, я получу приличную сумму, и обручение можно будет отпраздновать не только за ваш счет.

– Ну что же, – не без досады согласился мсье Пьер. – Ваша щепетильность тоже вызывает уважение. Однако, раз уж речь идет о щепетильности, позвольте еще одно замечание: к моменту обручения постарайтесь расстаться с вашей циркачкой.

Огюст вздрогнул:

– Позвольте, но это...

– Ваше дело? О да! – Шарло наивно поднял брови. – Но мадемуазель де Боньер слишком заметная фигура, и ее любовники тоже становятся знамениты. А мне бы не хотелось, чтобы перед свадьбой моей дочери, понимаете... чтобы ходили слухи и чтобы над Люси посмеивались, сравнивая ее со знаменитой наездницей. Я тоже в свое время женился не девственником, мсье, но мои развлечения не были известны всему Парижу.

– Я вас понял! – отрезал Огюст, сухостью тона дав понять, что не желает продолжать этого разговора. – И если вас тревожит эта связь, мсье Пьер, то поверьте моему слову: она, вероятно, скоро будет до конца разорвана, и обручение, которое мне предстоит, здесь даже ни при чем. Я и так давно решил расстаться с этой женщиной.

– Очень рад! – Пьер Шарло улыбнулся и ласково пожал руку архитектора, провожая его к дверям. – Очень-очень рад!

XI

Огюст не обманывал своего будущего тестя. Он действительно думал в эти дни о разрыве с Элизой, но окончательно не мог на него решиться.

Когда в середине апреля, сразу же после отречения императора, Монферран с радостью оставил армию и возвратился в Париж, никто, кажется, не встретил его с большей радостью, чем мадемуазель де Боньер... И он был счастлив, увидав, что за год разлуки она полюбила его как будто еще сильнее, чем прежде.

Однако в скромной ее квартире было по-старому полно цветов, в цирке к ней также ломились в уборную знакомые и незнакомые поклонники, ей писали письма, иногда посыльные доставляли их к ней домой, и все это вновь стало приводить Огюста в ярость. Прошел месяц, и сплетни, рассказы, сочувственные вздохи приятелей заставили его пожалеть о возобновлении этой старой связи...

Но Огюст был искренно привязан к Элизе, его мучила мысль о необходимости разрыва, и порою он думал, а не оставить ли все как есть? Ведь, в конце концов, они были не мужем и женою, и ему предстояло вскоре жениться, и Элиза должна была об этом узнать, так почему им было не заключить на этот счет соглашение, где ее права признавались бы в равной степени с его правами? Огюст не мог понять, отчего такой простой компромисс вызывает в его душе гнев и бешенство, отчего он боится рассказать своей любовнице о Люси Шарло, отчего так не хочет получить неопровержимое доказательство Элизиных измен... Мысль об этом его жестоко мучила, и он не знал, как избавиться от этой муки.

Антуан, заметив мрачное настроение друга, догадался о его причине и начал очень осторожно (ибо не позабыл о пощечине) убеждать Огюста не думать о ревности и брать у веселой красавицы только то, что она дать может, только радость и пылкие ласки, и не требовать скучной супружеской верности, которую ему в будущем в избытке подарит нежная Люси и будет кормить его этой верностью до тошноты... Но Огюст, вдруг ожесточившись, прервал рассуждения приятеля и потребовал, чтобы тот честно рассказал ему все, что узнал о мадемуазель Пик де Боньер во время его, Огюста, долгого отсутствия. Модюи долго мялся, однако наконец изложил кое-какие свои соображения, и Монферран перестал сомневаться...

– Все это правда, Тони? – сухо спросил он, сумев, однако, выдать на губах улыбку. – Поклянись.

– На Библии, на распятии или кровью? – ехидно спросил Антуан. – Ты, выходит, вовсе перестал мне верить? Так я же не Яго, а ты не Отелло.

– Извини. – Огюст махнул рукой. – Не те страсти, мой милый! Все это страстей не стоило и не стоит, и я никого не собираюсь душить.

Он солгал. С этого дня он упорно и жестоко подавлял в себе свое против воли глубокое чувство, свою первую настоящую любовь. Иногда в порыве великодушия он хотел разом все простить Элизе, стать ей другом, помнить только о том, что когда-то она спасла ему жизнь, но стоило ему увидеть ее, почувствовать горячие прикосновения ее рук, запах ее волос, провести губами по бархатному пуху ее щеки, и у него занималось дыхание, и он в самом деле испытывал бешеное искушение кинуться на нее, стиснуть руками ее высокую гордую шею и закричать ей в лицо: «Моя или ничья! Слышишь! Моя или ничья! Поклянись, не то я тебя убью!» Разумеется, он понимал, что не сделает этого, и презирал себя...

Однако сцены ревности он стал ей устраивать чаще прежнего, а если обходилось без сцен, то он мог целый вечер просидеть в ее комнате мрачный и недовольный, не объясняя причины своего недовольства, а потом встать и уйти (это сделалось его любимой выходкой). Иногда Элиза выносила его вспышки спокойно и кротко, но порою на нее накатывала волна возмущения, и тогда она колко отвечала на его замечания, его вспышки встречала убийственным

смехом, который сразу его охлаждал и приводил в почти мальчишескую растерянность, а иной раз, услышав упрек, топала ногою и говорила, яростно сверкая своими дьявольски черными глазами:

– Если ты здесь зря тратишь время, то и ступай, никто не держит тебя! А слушать твоё нытьё мне надоело! По-твоему, у меня любовники есть? Изволь же – да! Ну так что же? Дуэль? Убийство? Самоубийство? Выбирай! И оставь меня в покое!

В такие минуты она бывала не просто красива, но становилась царственна, недоступна, в ней появлялось что-то от греческой богини или настоящей царицы амазонок, и ему делалось страшно от сознания, что она сейчас первая прогонит его прочь и ему придется унести с собою такое унижение и ничем за него не отплатить...

– Полно, Элиза, – говорил он тогда. – Ну ты же лжешь и дразнишь меня. Нет у тебя других любовников, я это вижу, к чему такие слова? Не сердись, пойми... Ты же знаешь, у меня сейчас неприятности.

И в этом он не лгал.

Вступив на престол, новый король Франции Людовик XVIII, призванный к власти союзниками-победителями и французской аристократией, вначале отпугнул эту самую аристократию невероятным либерализмом. Он не стал расстреливать и вешать «цареубийц» и даже (о ужас, о позор!) оставил многих из них в парламенте, сохранилась свобода цензуры, не был упразднен орден Почетного легиона, не была от начала до конца преобразована армия, дворянство не было восстановлено в правах, упраздненных некогда революцией²⁴.

Однако мало-помалу новое правительство показало весьма мало либерализма в отношении тех, кто служил некогда в армии Бонапарта и тем более отличился на этой службе. До настоящих гонений было еще далеко, но лица, запятнавшие себя некогда верной службой «корсиканскому чудовищу», стали испытывать притеснения со всех сторон.

До Огюста дошли разговоры, что многие такие, как он, виновные лишь в храбрости, проявленной на войне, могут в скором времени потерять выгодные места. Его место особенно выгодным, пожалуй, не считалось, но нашлись бы претенденты оттеснить наполеоновского офицера и с этой «жердочки», и Огюсту стало не по себе. Молино не повышал его по службе, не предлагал ему самостоятельной работы, и по намекам главного архитектора Парижа Монферран вскоре понял, что ему, «бонапартисту», надеяться не на что... Поневоле приходилось думать о связях мсье Пьера Шарло...

Антуан Модюи собирался вернуться в Россию. Свой отъезд он назначил на конец ноября, желая избежать путешествия по отвратительным российским дорогам, размытым дождями.

– На саночках, по снежку, куда приятнее, – говорил он. – Да и быстрее – с каретами в каждой дыре проторчишь по два-три дня. Брр-р!

Но до его отъезда произошло событие, сделавшее прощание друзей совсем иным, нежели они полагали.

Однажды, это было в конце октября, Огюст встретил одного из своих знакомых, с кем некогда вместе служил в полку Дюбуа, и они, зайдя в какой-то трактирчик, провели там приятный вечер, после чего расстались, и Огюст, оставшись в одиночестве на темной и безлюдной улице, почувствовал вдруг досаду и тоску. Идти в свою пустую квартиру, где наверняка уже храпел на диване Гастон и в буфете было немного сухарей и четверть бутылки какой-то кислоты, ему ужасно не хотелось. И он решил пойти к Элизе...

Идти было далеко, экипажей по дороге не попадалось, молодой человек добрался до знакомой улицы, за которой начинался сад, в половине двенадцатого.

²⁴ С возвращением к власти короля французская аристократия надеялась вновь обрести когда-то конфискованные революцией и проданные земли, старинные привилегии дворянства, надеялась на упразднение свободы печати и ордена Почетного легиона.

Поднявшись по лестнице, он уже собирался было постучать в дверь, не рискуя так поздно дергать шнурок колокольчика, который (он это знал) зазвонит на всю лестницу, но тут вдруг его рука застыла, занесенная над дверной перекладиной. Из-за двери до него отчетливо донесся мужской голос, и, даже не напрягая слуха, он узнал его... То был голос Модюи.

– Ну в самом деле, Элиза, ты подумай, я тебе это серьезно говорю! – Тони настаивал на чем-то, говорил решительно и одновременно вкрадчиво.

В ответ раздался беззаботный Элизин смех, и от этого смеха кровь, разогретая в трактире старым бургундским, ударила в голову Огюста.

– Ах, Тони, как можно говорить серьезно такие вещи! – хохотала Элиза.

– Да нет же, право, – продолжал Антуан, – подумай... Ведь ваш с Огюстом роман скоро закончится, ты и сама это видишь. Вы оба вносите в это слишком много пыла, и у вас получается не красивый роман, а трагедия, а кому она нужна? Ты горда, а он строптив... И ревнив к тому же...

– Ты находишь, Тони? Ха-ха-ха!

– Перестань! Тебе совсем не так смешно, милая Лизетта. Хотя, я думаю, у тебя хватит здравого смысла пережить ваш разрыв. Ведь Огюст не единственный твой любовник?

– Конечно не единственный, а то как же? Неужели ты мог подумать, Тони, что я больше никому-никому не нравлюсь? Ха-ха-ха!

– Ты нравишься многим, – пылко воскликнул Модюи. – Но можно ли на них прочно рассчитывать?

– На кого? – весело спросила Элиза. – Ты всех их знаешь, мой милый Тони?

Антуан хмыкнул:

– Барон дю Ревэ, например, слишком стар и может отдать Богу душу, а этот сухопарый драгун, который обхаживает тебя с прошлой осени, мне кажется, уже женат... Но ведь ты и мне нравишься, Лизетта, и нравишься давно, и я отношусь к тебе серьезнее их всех, хотя до сих пор не получил за это ничего, кроме улыбок... Право же, едем со мной в Петербург!

Монферран, не веря себе, прислонился пылающей головой к косяку двери, и несшиеся из-за нее слова зазвучали еще громче и отчетливее.

– А что, скажи мне, пожалуйста, я стану делать в Петербурге?

– У меня в Петербурге огромные связи. Я устрою тебя в любой цирк, в любую труппу. Могу даже в балет... Тебе, правда, уже двадцать лет, но об этом никто не догадается, а я скажу, что восемнадцать...

– Нет! – хохотала Элиза. – Семнадцать, Тони, семнадцать! На большее я не согласна!

Потом она помолчала и так же весело спросила:

– Ну а что будет с Анри? Как он переживет сразу мою измену и твою?

– Но ведь он знает, что я первым с тобою познакомился, так что с моей стороны нет никакой измены. – Голос Антуана был неестественно игрив. – А ты, шалунья, изменяла ему давно.

– Ах да! А я и забыла... А ты напомнил...

– И потом, – настойчиво продолжал Антуан, – повторяю тебе: до вашего разрыва остались считанные дни. Я называл тебе причины. Могу добавить еще одну: Огюст не лишен снобизма. С годами он делается все более похож на своего покойного дядюшку Роже...

– Ты стал это замечать, милый Тони, после того, как увидел его альбом, да? Тот, что он подарил русскому царю? – тем же шутливым тоном спросила мадемуазель де Боньер.

Слышно было, как Модюи чем-то сильно поперхнулся.

– Ч... черт возьми, вот женская логика! А при чем тут альбом? Ты поедешь со мной в Петербург? Решай!

Дальше Огюст не слушал. Он схватил за шнурок и что есть силы рванул колокольчик.

Дверь открылась. Элиза увидела его искаженное побелевшее лицо и отшатнулась, тихо ахнув. Модюи застыл в кресле, возле окна, вытаращив глаза, полные ужаса. Его ужаснуло не столько само внезапное появление товарища, сколько взгляд Огюста, полный сумасшедшей злости.

– Ты... – только и смог выговорить пораженный Антуан.

– Анри! – вскрикнула Элиза.

– Отойдите, мадемуазель! – страшным, холодным и спокойным голосом произнес Огюст. – Для меня не новость ваше лицемерие, и я переживу его легко. Где мне спорить за вас с баронами и драгунами?.. Но тебя, Тони, следовало бы за это убить!..

И, произнеся это, он вдруг увидел на туалетном столике Элизы, среди всевозможных мелких безделушек, большой черный пистолет с широким дулом. Потом он сам не мог вспомнить, как успел в одно мгновение схватить оружие и прицелиться...

– Огюст, что ты делаешь?! Опомнись!!!

Антуан вскочил с кресла, рванулся ему навстречу, потом, задрожав, метнулся назад и прижался спиной к стене.

– Ради Бога, приди в себя! – прошептал он. – Ты же и в самом деле меня убьешь!

Монферран коротко усмехнулся:

– Ко всему прочему ты еще и трус, Тони... Да не стану я тебя убивать, много чести, а вот возьму и распишусь пулей на твоей наглой физиономии, оставлю на ней след!



В это время Элиза шагнула вперед и оказалась между ними. Ее лицо покрыл румянец, губы презрительно подрагивали.

– Не разыгрывай дурную драму, Анри! – Она протянула руку и спокойно взялась за расширенное пистолетное дуло. – Отдай мой пистолет. Он не настоящий, он цирковой и стреляет длинной цветной лентой. Если ты выстрелишь, я умру со смеху, а меня ведь ты не собираешься убивать...

От этих слов Огюст пришел в себя. От стыда и досады, от пережитого только что потрясения и невыносимой обиды ему хотелось разрыдаться. Он швырнул на пол игрушечное оружие, недоумевая, как мог спутать его с настоящим, и, прежде чем выскочить за дверь, успел услышать исполненный облегчения возглас Модюи:

– О Господи, Элиза! Да он же сумасшедший!

– А ты – подлец! – резко, уже безо всякого смеха ответила на это мадемуазель де Боньер. – Ступай отсюда вон! Обоих вас больше не желаю видеть! Деритесь на дуэли, подсылайте друг к другу наемных убийц, мне нет до этого дела! Прочь!

Окончательно очнулся Монферран уже у себя дома. Перед ним на столе стоял пустой графин, где уже не осталось ни капли вина, а за окном было утро, и надо было сменить мокрую от пота рубашку, причесаться и идти на службу, однако ему хотелось кинуться на улицу, нападать на прохожих и бранить их самыми скверными словами, нарваться на драку, орать площадные ругательства...

Он выпил большой стакан холодной воды и почувствовал наконец, что наполнявший его горячий жар остывает...

А неделю спустя произошло несчастье, которое (и так было суждено!) явилось последним актом драмы.

Не утерпев, Огюст отправился вечером в Олимпийский цирк. Ему хотелось, скорее всего, в последний раз увидеть Элизу, но была у него и тайная надежда, может быть, помириться с нею, ибо, поразмыслив, он понял, что в подслушанном им разговоре не было ни слова, обличавшего ее неверность, – она говорила с насмешкой о мнимых своих любовниках, скорее всего издеваясь над Антуаном, а не подтверждая его догадки... Огюсту опять было стыдно перед нею.

Выступала Элиза уже не с прежним номером, теперь он стал еще сложнее и опаснее, и она проделала все с обычным блеском, вызывая бурные рукоплескания всего цирка. Однако перед самым опасным трюком, прыжком через горящее кольцо, наездница окинула ряды зрителей взглядом, увидела во втором ряду взволнованное лицо своего любовника, и глаза ее вдруг потемнели от гнева и боли. Она вскачь направила коня к пылающему кольцу, и в тот миг, когда конь прыгнул, Огюст понял, что сейчас всадница упадет...

Элиза взлетела в сальто над седлом, пронеслась впереди коня через горящее кольцо, развернулась, чтобы сесть в седло совершившего прыжок скакуна, но ее как-то занесло вбок, и она рухнула на скользкий лошадиный круп позади седла, не сумела удержаться и покатилась в белые опилки арены...

Отчаянный крик Огюста потонул в громовом реве зала.

Потом он протискивался к ее раздевалке, ворвался туда, и его стали возмущенно выталкивать вон, но какая-то женщина, которой он абсолютно не знал, сказала: «Оставьте его, он тут бывает...» Потом Огюст вцепился в рукав доктора, суховатого и моложавого господина, мывшего руки над мятым медным тазом, и требовал, чтобы тот ему сказал, что с нею.

– Да ничего, – устало и почти безразлично ответил доктор. – Ничего не сломано. Встряска сильная, удар. Ну и в результате этого – потеря ребенка, которого она ждала.

– А?! – Огюст пошатнулся, задел край таза и опрокинул его себе и доктору на ноги.

Доктор усмехнулся, оскалив кривые темные зубы, и проговорил шепотом, насмешливо глядя в лицо молодому человеку:

– Ваш, да? Ну так имейте в виду: она нарочно это сделала. Обычный способ таких девиц. Рожать им нельзя – тогда цирку конец. Ну вот они и валятся с седла, умудряясь ничего не поломать себе, недаром ведь тренируются, однако же младенца выкидывают, и дело с концом...

– Замолчите, негодяй! – прошипел Монферран, с трудом заставляя себя не замахнуться и не ударить доктора.

Потом он два дня слонялся вокруг дома Элизы, задыхаясь от ужаса, жалости, негодования, обиды и боли. Ему было жаль ее – ее, а не себя, но вместе с тем он чувствовал, что то крошечное существо, его дитя, плоть от плоти, сознательно умерщвленное Элизой (да, он был уверен, что она это сознательно сделала!), как будто требует за себя отмщения.

На третий день он вошел к ней. Дверь не была заперта, и он увидел больную в постели, в ее любимом синем халате, в белом чепце, с осунувшимся лицом, на котором потонувшие в синих тенях громадные глаза казались чужими, чуждыми этой мертвенной бледности и опустошенности лица.

– Анри! – прошептала она, увидев его, и сделала движение, будто хотела встать с постели, но ее удержала женщина (та самая, что в цирке вступилась за Огюста).

– Господи... – Он шагнул к ней, протянул руку. – Господи, зачем?.. Зачем ты это сделала, а?!

Элиза вздрогнула, напряглась.

– Сделала? – повторила она глухо. – Ты подумал, что я нарочно?

В глазах ее тотчас вспыхнула уже знакомая злость, и он, увидев это, вдруг укрепился в своем подозрении, и оно вызвало в нем прежнее бешенство.

– Пусть я виноват! – воскликнул он яростно. – Но за что, за что, мадемуазель, вы убили моего ребенка?!

У нее вырвался глухой хриплый возглас, как если бы ее больно хлестнули по лицу, но в тот же миг она преобразилась. Бледные запавшие щеки запылали, блеск глаз ожил, она с неожиданной легкостью, оттолкнув свою сиделку, вскочила с постели и рассмеялась, коротко и сухо, а затем спросила с насмешкой, которая долго потом звучала в его ушах:

– А с чего вы так уверены, мсье де Монферран, что это был ваш ребенок?!

Ни слова не говоря, он повернулся и вышел за дверь. Все было кончено.

XII

Прошло немногим менее года, и имя Наполеона Бонапарта, которое Европа так хотела, но не могла, конечно, забыть, вновь потрясло ее и заставило затрепетать. Неугомонный воитель бежал с острова Эльба и двинулся к Парижу.

Парижские газеты сопровождали стремительное наступление Наполеона и примыкающих к нему все новых и новых войск сообщениями, которые менялись по мере сокращения расстояния между наступающими и Парижем. «Корсиканское чудовище покинуло остров Эльба». «Людоед высадился в бухте Жуан». «Бонапарт приближается к Греноблю». «Наполеон в нескольких переходах от Парижа». «Его императорское величество ожидается завтра в столице»...²⁵

В иных местах Франции это новое нашествие встречалось угрюмой покорностью либо открытым сопротивлением, но чем ближе к Парижу, тем большее ликование выказывал народ по поводу возвращения своего недавнего вождя, своего кумира. Наивные крестьяне, рабочие, солдаты, утратившие в коловерти событий способность реально оценивать обстановку, все еще мечтали о воскрешении революции и символом ее еще видели человека, который, по собственным своим словам, «убил революцию во Франции».

И вот они наступили – сто дней. Новый взлет надежд, новая война, а потом, потом еще более страшное поражение, окончательно повергшее несчастную страну во прах перед вспыхнувшей яростью Европой...

В Париже было вначале спокойно, но в нем росло брожение, газеты, ухватившись за декрет об отмене цензуры²⁶, осторожно влаивали, каждая на свой лад, а на стенах домов и на оградах то и дело возникали листы с более или менее остроумными воззваниями вроде: «Два миллиона награды тому, кто найдет мир, утерятный 20 марта»²⁷.

Много необъяснимого, порожденного сумятицей переворота, происходило в эти дни в столице. Казалось бы, император был настроен доброжелательно, зло не поминалось, все были прощены, но то там, то здесь неожиданно находились ретивые поборники нового террора и появлялись жертвы их пустой и ненужной ретивости.

Утром второго мая 1815 года Огюст Монферран возвращался домой с кладбища. Он навестил могилы родителей, и настроение у него было печальное, тем более что ко всему примешивались мысли о грядущих неприятностях: в Париже бродили разговоры о новых военных наборах и о новом возможном призыве уже отслуживших солдат и офицеров... Огюст никогда не был особенно расположен к императору, а теперь ему просто хотелось его проклинать.

Подходя к дверям своего дома, Монферран скорее почувствовал, чем увидел, что кто-то указывает на него с противоположной стороны улицы, и тотчас чей-то голос воскликнул:

– Вот он, господа! Я же говорил вам: куда он денется?

Огюст обернулся в тот момент, когда к нему с трех сторон уже подбегали трое молодцов в солдатской форме, а следом за ними, перебегая улицу, торопился полицейский комиссар, по всей форме перепоясанный шарфом. На противоположном тротуаре, злорадно ухмыляясь, стоял полный веселый мсье Дагри, постоялец того же дома, живший этажом ниже Огюста.

– Именем закона! – пыхтя, произнес комиссар в тот момент, когда солдаты, встав вокруг молодого архитектора, решительно подхватили его под руки.

²⁵ Приводятся подлинные выдержки из газет того времени.

²⁶ Наполеон, стремясь либерализмом завоевать расположение буржуазии, отменил цензуру в печати в период своего кратковременного возвращения к власти, получившего название «Сто дней».

²⁷ Это и многие подобные воззвания украшали в те дни стены парижских домов.

– Что это значит? – вскрикнул молодой человек, еще не успевший испугаться и испытанный в тот момент одно только возмущение. – Что вам угодно?

– Огюст Рикар де Монферран? – спросил комиссар, приближаясь к нему вплотную.

– Да, – ответил молодой человек.

И вот тут холодный комок встал у него в горле. Было названо его имя, значит, это не ошибка...

– Вы арестованы, – сказал комиссар.

– За что?! – выдохнул Огюст, с бесполезным неистовством пытаясь освободить руки, сжатые с двух сторон.

– А вот этого я не знаю, и это уже не мое дело, – усмехнулся комиссар. – Да бросьте вы сопротивляться, молодой человек, не то я прикажу этим ребятам скрутить вас.

– И скрутим живо! – зло произнес старший из солдат, крепкий мужичище с могучими жесткими руками. – Нечего и трепыхаться, роялист проклятый!

И он так решительно заломил руку арестованного за спину, что хрустнул плечевой сустав. Огюст вскрикнул больше от гнева, нежели от боли, и, потеряв голову, закричал:

– Пусти меня, скот! Да как ты смеешь?!

Эти слова произвели немедленное и страшное действие.

– Что ты сказал?! – взревел солдат. – Вы слышали, ребята? Он меня скотом обозвал! Ар-р-ристо-крат паршивый!

– Прекратить! – вскричал комиссар, видя, что дело оборачивается дурно, но не в его силах было сдержать ярость солдат.

– Что возиться с ним? – возопил второй страж закона. – Мало их таких? И всех еще судить? Много чести! Стрелять их, как шакалов!

И он, вскинув ружье, направил его в грудь арестованному и взвел курок.

– Стреляй, стреляй, Жюль! – поддержал товарища старый солдат. – Ну его в болото! Кому он нужен!

В эти самые мгновения Монферран вдруг овладел собою.

– Стреляйте! – спокойно проговорил он. – Видно, судьба моя такая – умереть не от русской и не от английской, а от французской пули. Только не промахнитесь, господа! Сердце вот здесь!

И он указал глазами себе на грудь, одновременно сделав ловкое движение плечом, от которого плащ на нем распахнулся. Дуло солдатского ружья уперлось в муаровую ленту ордена Почетного легиона.

– Ах, дьявол! – вырвалось у всех троих солдат и у комиссара.

– За что он у вас? – уже совершенно иным тоном спросил комиссар, ткнув пальцем в орден.

– Это не ваше дело, мсье, – сказал Огюст, – но, если угодно, я вам отвечу: за спасение полка во время битвы при Ла-Ротье.

– О-о-о! – Пожилой солдат взглядом сверху вниз окинул невысокую фигуру молодого человека.

Потом ладонь его решительно легла на дуло ружья Жюля.

– Оставь это, парень. Не годится стрелять офицеров, как кроликов. Может, он и в самом деле не виноват?

– Все может быть, – с сомнением протянул озадаченный комиссар. – А закон в любом случае надо соблюдать. Мсье Монферран, извольте подчиниться приказу. Вы арестованы.

– Да это мне давно ясно, – проговорил Огюст, делая над собою невероятное усилие и подавляя готовый вырваться приступ истерического смеха. – Но прикажите им отпустить меня. Я сам с вами пойду, господа, не тащите меня через всю улицу за шиворот, как какого-нибудь карманника. И ради Бога, комиссар, позвольте мне позвать моего слугу: он там, в доме, он

выйдет, если я крикну ему... Я хочу попросить его сообщить одному из моих друзей о том, что произошло.

– Ну что же, на это я не могу возразить, – кивнул комиссар. – Отпустите его, солдаты. Жюль, сходите за его слугой.

«Другом», которому Огюст собирался сообщить о свалившемся на него несчастье, был, разумеется, мсье Пьер Шарло. Будущий тесть архитектора имел достаточно связей, чтобы помочь ему даже и в том случае, если его арест не был просто недоразумением...

На третий день его заключения в тюрьме Ла Форс в камеру к нему явился наконец долгожданный мсье Шарло.

– Господи помилуй, что все это значит?! – возопил он с порога, едва караульный со звоном захлопнул за ним дверь.

– Это значит, – пожимая ему руку, ответил Огюст, – что я стою над глубокой пропастью, и мне очень нужна точка опоры, мсье Пьер.

– Но в чем вас обвиняют, черт бы побрал этих путаников?!

Горько рассмеявшись, молодой человек усадил своего гостя на тяжелый деревянный табурет и сел напротив, на покрытую грубым одеялом железную кровать.

– Мсье, – проговорил он, – вы знаете, что у нас умеют сделать из мухи слона. Виною всему моя достопамятная встреча с императором Александром.

– Что?! – Шарло так и подскочил, пожалуй что слишком удивившись, но Огюст, волнуясь, не мог этого заметить. – Разве у нас установлен террор? За ваш безобидный подарок русскому царю вас упрятали за решетку?!

– Увы! Но дело не только и не столько в подарке. Кто-то написал на меня донос, и в этом доносе утверждается, будто бы я давно уже был агентом Бурбонов, причем служил непосредственно князю Талейрану и бывал посредником между ним и графом Витролем, что я принимал участие и в недавнем восстании Вандеи²⁸, передавал туда сведения из Парижа... И всему этому неопровержимое доказательство – мое «сказочное» появление перед русским императором, к которому простому смертному-де трудно было так быстро попасть. Кроме того, и мое свидание с Александром происходило в присутствии Талейрана и Витроля, которые якобы мне и помогли в уплату за мои услуги.

– Но это все, конечно же, ложь? – хмурясь, спросил мсье Пьер.

– Вы, может быть, сомневаетесь? – Огюст в упор посмотрел на него, но по выражению его лица ничего не смог понять. – Вы полагаете, что я кинулся с головой в эту бочку грязи, называемую политикой? Да я...

– Да знаю я, мой мальчик, что вы никакого отношения ни к Талейрану, ни к Витролю, ни к Вандее и ее мятежникам не имеете! – вскричал Шарло. – Но доказать-то это возможно или нет?

– О, в этом-то все и дело! – Огюст развел руками. – Моя встреча с русским царем произошла, я преподнес ему подарок, а какой, это уже не важно, важно то, что он меня милостиво принимал и выслушивал. Ручаюсь, что, займись этим какой-нибудь умный человек, ему бы просто смешно стало ото всей подобной чепухи, но тюремный следователь, с которым я беседовал и который, уверяю вас, в недавние месяцы яростно разоблачал и карал бонапартистов, готов отдать меня под суд. А суд, если только признает причастность мою к роялистам до отречения императора, может вынести мне смертный приговор, ибо это будет уже обвинение в измене присяге... Понимаете?

– Вы преувеличиваете, Огюст, ей-богу! – воскликнул мсье Пьер. – Не те сейчас времена, и его величество император скорее расположен миловать, а не карать. Суд не будет так жесток,

²⁸ Вандея – область во Франции, ставшая центром монархических восстаний конца XVIII – начала XIX в.

да, я полагаю, и до суда дело не дойдет. А я приложу все мои скромные силы, дабы помочь вам, и ручаюсь, что помогу, если, конечно, найду нужные пути и средства.

– Ради Бога, найдите их! – Молодой человек посмотрел на своего будущего родственника таким взглядом, что тот потупился. – Что бы мне ни угрожало, я из-за всего этого прежде всего место потеряю: Молино, узнав, что меня отдадут под суд, тут же позаботится об этом – у него и так много лишних архитекторов... Куда же мне, а? В Сену?

– Ну, милый мой, откуда такие слова? – возопил мсье Пьер. – На вас это не похоже!

Легкая краска проступила на лице Огюста, он устыдился своего порыва малодушия. Но тут же его губы скривила ироническая ухмылка, он махнул рукою и проговорил незнакомым глухим голосом, глядя не на Шарло, а в кирпичную темную стену своей камеры:

– Я устал, мсье! До мерзости... Не могу сознавать, что меня, как шахматную фигуру, двигают взад и вперед какие-то тупые безмозглые силы! Меня! Человека, творца, черт возьми, если талант в этом мире что-то значит и дает право так называться... Я ненавижу войну, а мало ли мне пришлось воевать? Мне противно унижение и раболепство... Вот сделал один раз шаг смелый и отчаянный – преподнес Александру этот самый альбом. Что это, измена? И меня винят во всех смертных грехах, среди бела дня, на глазах у соседей, хватают возле моего дома и тащат в тюрьму, и какой-то идиот, который не имеет ни убеждений, ни совести, называет меня изменником и государственным преступником, допрашивает и с грамматическими ошибками вписывает в протокол какие-то, с его точки зрения, умные фразы! Боже мой, как это перенести?!

– Успокойтесь, Огюст, успокойтесь, не впадайте в истерику! – Мсье Пьер взял молодого архитектора за руку и наклонился к нему, стараясь придать своему лицу как можно более сострадательное выражение. – Даю вам слово, я буду стараться вам помочь. Но только мне надобно уверить моих высоких покровителей, а таковые у меня, вы знаете, имеются, так вот, их надо уверить в том, что вы – близкий мне человек.

Огюст удивленно посмотрел на него:

– Куда уж ближе? Я ведь почти жених вашей дочери. Или вы мне решили отказать, коль скоро я оказался в Ла Форсе?

– Что вы, что вы, наоборот, мой дорогой! – Глаза мсье Пьера так и засверкали, и в выражении лица против его воли появилось что-то хищное, словно он кинулся из засады на жертву, которую давно поджидал. – Я как раз и хочу это подчеркнуть! Но о вашем сватовстве надобно сообщить моим высоким покровителям, а вы ведь еще и не посватались, вы все тянули... Кто же знает вас как жениха Люси? Однако же, если я покажу им подписанный вами и заверенный у нотариуса контракт... Я хочу сказать: письменное ваше обязательство в такой-то срок заключить брак!..

При этих словах Монферран, уже окончательно овладевший собою, вдруг сразу многое понял. Вернее говоря, он понял почти все, но не решился сразу сделать самый важный и самый ужасный вывод. Однако внутри у него все задрожало, он напрягся и сумел подавить готовый вылететь возглас бешенства.

– Вы находите, что это поможет? – спросил он совершенно спокойно.

– Нисколько в этом не сомневаюсь, – уверенно ответил мсье Шарло. – И даже захватил обязательство с собою. Вот оно. А мой нотариус согласен его заверить в ваше отсутствие при условии подлинной подписи. Пузырек с чернилами у меня тоже при себе, и перо имеется. Извольте же.

Это было уже слишком! Огюст понял, что мсье Пьер ко всему прочему недооценивает его ум, и ему захотелось запустить пузырьком в эту добродушнейшую и гладчайшую физиономию. Но вместе с тем расчет противника был слишком верен: у жертвы не было выбора!

– На какой срок рассчитано обязательство? – спросил молодой человек, разворачивая упругий лист бумаги и стараясь не показать дрожи в кончиках пальцев. – Когда я обязан заключить брак?

– Через полгода, – ответил мсье Пьер, тоже делая над собою усилие, чтобы не показать торжества.

Огюст с досады решил хотя бы поторговаться, к тому же теперь ему, как никогда, хотелось получить отсрочку, и он сказал, пожимая плечами:

– Нет, это невозможно, мсье. Вы же знаете мои обстоятельства. Через полгода я еще не смогу жениться: у меня не будет не то что денег, а и почвы под ногами. Кто знает, когда мои дела устроятся? Напишите год, и это будет то, что нужно.

– Год? И вам не стыдно? – Упрямый торгаш уже не желал уступать. – Сколько же моя бедная девочка будет ждать, а соседи судачить о ней по воскресеньям в церкви? Вы же бывали у нас в доме! Люси в вас влюблена и ни о ком другом не хочет слышать. И что за глупые мысли о деньгах? Вы же знаете, и я вам говорил: уж на свадьбу-то я деньги найду.

– А мне, по-вашему, это не будет обидно? – уже резко, едва подавляя гнев, воскликнул Монферран. – Жениться и устраивать семью на деньги тестя, это без малого в тридцать лет! Нет, я так не могу!

– А где уверенность, мой мальчик, что через год у вас будут средства? – с некоторым ехидством воскликнул Шарло. – Вы избрали себе не самое прибыльное занятие, как я посмотрю...

– На другое я не способен! – Голос Огюста зазвенел, и в глазах появилось упрямое и недоброе выражение. – И я все равно добьюсь своего, если вылезу отсюда, черт возьми! Но через полгода едва ли у меня что-то будет. Дайте мне год, мсье Пьер. Прошу вас об этом! Не срамите меня перед людьми. Я же все-таки дворянин.

Осторожность, свойственная Пьеру Шарло, иногда изменяла ему, когда он приходил в раздражение. И сейчас он не справился с собою, видя, что жертва, так крепко пойманная в капкан, вдруг показала зубы.

– Полно вам! – вскричал он сердито. – Нашли чем хвалиться... Мне хорошо известно, дорогой мой, что ваше, с позволения сказать, наследственное дворянство заработано на конюшне.

– А?!

Рывок, и заключенный вскочил со своей лежанки так быстро, что будь табурет мсье Шарло поставлен чуть ближе, он непременно упал бы от резкого толчка, и достойный господин опрокинулся бы на спину. Но он тоже умел прыгать и вовремя отскочил назад, успев за полсекунды взлететь с табурета, который Огюст тут же и поддал ногою, направив вслед мсье Пьеру, но табурет был тяжел и не долетел до него.

– Вы что, вы с ума... – начал было Шарло, но тут же понял, что промолчать будет лучше.

– Вон отсюда! – закричал Огюст, указывая на дверь камеры, как если бы то была дверь его гостиной. – Вон, проходимец, купчик, вымогатель! Ради выгодной сделки с женихом младшей дочери вы отобрали у старшей приданое, а теперь хотите ее сбыть хоть нищему, не то младшую выдавать прежде старшей неудобно! А мне хотите для верности накинуть аркан на шею?! Не выйдет!

– Ах вот как! – У мсье Пьера лицо пошло пятнами, не красными, а почему-то рыжеватыми, и стало похоже на продолговатую тыкву. – Вам же хуже, мсье строитель! Я свою дочь оскорблять не позволю, она не цирковая шлюха! Теперь-то я знаю, каковы ваши чувства!

– Он знает! Святая простота! – фыркнул Огюст. – А я вот знаю, кто написал на меня анонимный донос! Ну?! Молчите, а?!

– Вы... Это... Вы – сумасшедший! – прохрипел отчего-то сразу севшим голосом мсье Шарло.

– Вон! И чтоб я вас больше не видел! – прогремел Монферран, хватаясь за табурет.

– И не увидите! – пообещал мсье Пьер и исчез за распахнувшейся перед ним дверью, которую давно уже отпер привлеченный криками караульный.

Прошло около получаса, прежде чем Огюст осознал до конца, что он наделал. И тогда его раздавило отчаяние, и он, закрыв лицо руками, упал на лежанку и не вставал с нее до самой ночи.

XIII

Однако, поразмыслив на трезвую голову, Монферран сообразил, что мсье Пьер вернется, потому что ему как-никак тоже некуда деваться...

Но шли дни, а Пьера Шарло все не было и не было. Между тем на втором допросе заключенному дали понять, что следователь уверен в его вине и обязательно передаст его дело в суд. Да и сама тюрьма, и камера, в которой он находился один, целыми днями слушая нудные шаги часового, начали подавлять душу узника, и к концу недели, прошедшей со дня посещения мсье Пьера, он уже не помнил себя от мучительного отчаяния.

Поэтому, когда на восьмой день мсье Пьер все-таки появился на пороге камеры, Огюст едва не кинулся ему навстречу и с трудом заставил себя принять делано равнодушный вид.

Мсье Пьер оглядел его с порога, увидел его побледневшее, осунувшееся лицо, растрепанные кудри, за которыми он перестал следить, искусанные губы, и ему стало ясно, что на этот раз петля затянется прочно. Но он помнил об упрямстве и гордости Огюста и решил действовать без риска. Кроме того, мсье Пьер не был от природы жестоким человеком, ему в эту минуту стало искренне жаль свою жертву, и он решил не мучить ее понапрасну.

– Доброе утро, мой любезный мсье Огюст! – смиренно воскликнул он. – Я должен извиниться за нелепую сцену, что между нами произошла. Мы оба повели себя неразумно, но я, как старший, должен был больше следить за собою. Простите меня!

– И вы меня! – сквозь зубы, с трудом ответил Монферран. – Я говорил какую-то чушь, о которой теперь жалею.

– Ну и прекрасно! – Мсье Пьер уже снова воссел на табурет, ставший, правда, нетвердым в ногах после тюремной схватки, но вполне сохранивший увесистый вид. – Вот и отлично, право же! Я уже говорил со своими знакомыми, мне готовы помочь в вашем деле. Но контракт, о котором мы говорили, необходим, вы же понимаете... И в самом деле, что я спорил? Год так год, для моих достойных покровителей это не важно, а если вам улыбнется удача, можно и ускорить свадьбу, ведь так, Огюст?

– О, конечно! – воскликнул молодой человек, чуть не плача от стыда.

Пять минут спустя Шарло исчез, дав узаконенному зятю слово, что спустя два-три дня его заключение благополучно закончится.

Около десяти минут Огюст ходил взад-вперед по камере, иногда останавливаясь и прижимаясь лбом к прохладной стене, чтобы охладить горящую голову.

За дверью камеры, прерывая монотонный шаг часового, раздались чьи-то клацающие шаги. Звон шпор и бряцание сабли умолкли перед самой дверью, после чего заключенный ясно услышал повелительный голос подошедшего:

– Именем императора!

Дверь распахнулась.

Господин в форме полковника национальной гвардии, шагнув вперед, но не переступая порога, воскликнул тем же тоном, каким только что объявил, от чьего имени он здесь:

– Мсье Огюст Рикар де Монферран?

– Да. – Молодой человек невольно встал навытяжку, стараясь не выдать ни своего изумления, ни волнения.

– Приказом его императорского величества вы свободны!

– То есть... как?! – задал Огюст глупый вопрос, думая, что либо ослышался, либо ему просто привиделась эта блестящая фигура при шпорах и с саблей.

– Вы свободны, мсье, мне приказано объявить вам об этом, – повторил полковник, кажется не сдержав улыбки. – Выходите отсюда, что же вы стоите?

В следующий миг Огюст не вышел, а прямо-таки выпорхнул из камеры, и когда офицер шагнул за ним в коридор, вдруг бесцеремонно схватил его за рукав мундира, снизу вверх заглянул ему в лицо, ибо полковник был много выше его, и воскликнул в сердцах:

– Ах, какая жалость! Ну отчего вы не пришли на четверть часа раньше? У вас что, лошадь плохая?

Полковник вытаращил было глаза, но тут же фыркнул себе в усы, пожал плечами и спросил:

– А что случилось бы, если бы я на четверть часа не опоздал?

– Вернее сказать «не случилось бы»! – поправил его архитектор. – Но тем не менее я вам от всего сердца благодарен. Тюрьма Ла Форс мне осточертела, как вы легко можете догадаться. Спасибо, мсье, и прощайте!

– Погодите прощаться со мной. – На галерее, куда вела дверь из коридора, полковник догнал освобожденного узника и неторопливо пошел с ним рядом. – Вас недалеко отсюда ждет карета, мсье де Монферран.

Огюст вздрогнул:

– Вы только что сказали мне, что я свободен? Я ослышался?

– Нет. Вы свободны. Но вас хочет видеть лицо, которому ни один свободный человек не может отказать, во всяком случае, я бы на вашем месте не посмел отказать от такого приглашения.

Вот теперь Монферрану показалось, что он сходит с ума.

– Как вы сказали?! – пролепетал он, замирая на месте. – Кто меня зовет? И куда?

– Вас желает видеть его величество император, по чьему приказу вы были мною освобождены, – пояснил невозмутимо офицер. – Я уполномочен доставить вас в Тюильри.

– Ну что же! – неожиданно для себя Огюст рассмеялся. – Раз так, едем! Только, даю слово чести, я незнаком с императором!

От Маре, где находилась тюрьма Ла Форс, до дворца Тюильри было изрядное расстояние, и дорогой у Огюста не раз являлось желание хоть что-нибудь разузнать у полковника, тем более что и тот разглядывал своего попутчика с почти неприкрытым любопытством. Однако оба предпочли сохранять молчание.

Около пяти часов вечера они вошли в так называемый малый покой дворца и за дежурным офицером императорской охраны проследовали к дверям одного из кабинетов, где еще три недели назад любил отдыхать в уединении Людовик XVIII, а теперь строил новые дерзкие и заранее обреченные планы Бонапарт.

– Желаю удачи, мсье архитектор! – напутствовал Огюста полковник и решительным движением распахнул дверь кабинета, не постучав в нее, ибо время их прихода, очевидно, было заранее условлено.

И вот Монферран испытал, пожалуй неожиданно для себя, настоящий трепет. Он никогда не видел Наполеона вблизи, но волновала его даже не самая встреча, а то, что могло последовать за нею. Ему вдруг представилось, что в этом неожиданном приглашении, в этом необъяснимом участии, которое проявил к нему человек, никогда не интересовавшийся судьбою отдельных людей, заключено нечто грозное и что ему предстоит еще отстоять только что полученную свободу.

Маленький коренастый человек в скромном военном мундире стоял возле окна кабинета. Недалеко от него с объемистой папкой бумаг в руках застыл вполоборота к двери немолодой мужчина в штатском платье, с очень подвижным лицом и упрямым взглядом. Огюст тут же вспомнил, что видел его лет двенадцать назад, случайно оказавшись на площади Каррузель²⁹

²⁹ *Площадь Каррузель* – одна из центральных площадей Парижа, где в конце XVIII в. архитекторами Ш. Персье и П. Фонтеном (1762–1853) была сооружена Триумфальная арка.

во время стихийно возникшего там народного собрания, где шум поднимали и задавали тон оппозиционеры Трибуната³⁰, негодующие по поводу провозглашения первого консула французским императором. Память подсказала архитектору имя этого человека – то был отважный якобинец Бенжамен Констан³¹, враг Наполеона, призванный им ныне для составления либеральной конституции новой империи, которой возвращенный властелин надеялся усмирить волнения в стране.

– Ваше величество, приказ исполнен! – отрапортовал, входя в кабинет, гвардейский полковник. – Этот человек перед вами.

Наполеон обернулся. Взгляд его твердых и холодных глаз уперся в Монферрана, как раз в тот момент оказавшегося против окна, так что свет упал на его лицо, и солнечный луч очертил в столбе пляшущих пылинок его фигуру.

– Так это он? – произнес император с нескрываемым удивлением, обращаясь то ли к полковнику, то ли к Констану, то ли к ним обоим. – Хм! Ну и что в нем особенного, позвольте спросить?

Не получив, разумеется, на свой вопрос никакого ответа, ибо ни один из присутствующих не был уверен, что именно ему следует отвечать, Бонапарт резким шагом приблизился к Огюсту, вместо того чтобы, как велел этикет, подзвать его к себе.

– Вы знаете, отчего я позвал вас, мсье Монферран? – спросил Наполеон архитектора, который, выпрямившись после поклона, неподвижно замер перед ним.

– Я не могу предполагать, ваше величество, – ответил Огюст достаточно твердо.

– Конечно же не можете. Я хотел посмотреть на вас. – Голос Наполеона был ровен и так же холоден, как и его глаза. – Слишком странна мне ваша особа. И я ожидал увидеть вас другим. Хотя бы красивым, как Аполлон.

– Что навело вас на такую мысль, ваше величество? – не удержался Огюст.

– Что? Какая разница? – И тут Наполеон слегка усмехнулся. – Не могу сказать, чтобы вы выглядели глупым, но мне заявили, что вы гений...

– Так ли это, может знать пока один Господь Бог, ваше величество, – проговорил еще более изумленный Монферран. – Я пока ничем не доказал этого и ничем не опроверг.

– Ага! – Император отошел в сторону, усмехаясь, поглядел на Констана, с любопытством слушавшего весь разговор, а затем резко произнес: – Ну а русский император разве не нашел вас талантливым? Ваш подарок ему, если не ошибаюсь, понравился.

– Да, ваше величество, – скромно ответил Огюст, сумев даже не побледнеть при этих словах, ибо этого вопроса он ожидал, – да, русскому императору понравились мои проекты. Но, кроме них, я ничего ему не дарил и до этой с ним встречи не имел к русским никакого отношения. Я не изменник.

– Да? – В голосе императора появились те рокошующие ноты ярости, которые заставляли трепетать самых смелых. – Вы не изменник? Как же так? А само ваше подношение царю завоевателей, захвативших вашу страну, не именуется изменой, мсье?

– Помилуйте, ваше величество! – воскликнул Огюст. – Это действительно был только альбом архитектурных проектов, и ничего более.

– И среди них – проект памятника генералу Моро? Или он тоже, по-вашему, не изменник?

³⁰ *Трибунал* – одна из коллегий, образованных в годы французской революции. Состояла из 100 членов, назначалась Сенатом. Трибунал состоял в оппозиции к Наполеону, и тот постоянно уменьшал его компетенции, пока не нашел возможным совсем его упразднить.

³¹ *Констан Бенжамен* – якобинец, видный политический деятель республики, блестящий оратор, противник тирании Наполеона. В период Ста дней, стараясь завоевать симпатии республиканцев, Наполеон поручил ему составление новой конституции.

Этого вопроса Огюст страшился всего больше. Он не сомневался, что императору стало известно содержание его альбома и что ярость его должна быть вызвана не только триумфальной аркой в честь побед русских, а еще и этим памятником его врагу Моро, его сопернику в славе, которого он когда-то оклеветал и без вины предал суду, доведя тем до бегства, измены и гибели.

– Вы намалевали этот проект в угоду русскому царю, который обожает Моро, или вы сами относитесь к нему с обожанием? – уже почти с угрозой спросил император.

Огюст почувствовал, что его спина и виски покрываются потом, и вдруг разозлился на себя за малодушие.

– Ваше величество, – решительно проговорил он, – генерал Моро изменил однажды, и за изменой его сразу последовала смерть, так что он не успел принести вреда никому, кроме себя. Но до того он принес Франции столько пользы и так героически за нее сражался, что не уважать его я не могу. Его страшная ошибка не может затмить его подвигов.

– Другие думают иначе, – сурово возразил Наполеон.

– Нет, ваше величество, – почти дерзко проговорил Огюст. – Другие не думают, другие повторяют, а это не одно и то же. Человек повторяет обычно то, что диктует общее мнение, а думает то, что воспринимает сам, своим умом, своей собственной логикой.

– Ба! – вскричал с изумлением Наполеон. – Да вы и вправду кое-чего стоите, мсье. Бог же с вами, и я даже допускаю, что вы можете быть правы. Не смотрите на меня таким взором, я вижу, что вам не по себе, но не бойтесь: я дал слово, что вы будете свободны и не пострадаете, и в любом случае сдержал бы его. Надо сказать, я держу его охотно, вы мне даже нравитесь. Сочетание ума, искренности и смелости в одном лице – редчайшее явление. Между прочим, оно было у Моро... Ну и Бог с вами! Я удовлетворен. Ступайте.

Огюст перевел дыхание. Но тут же, движимый непонятным порывом, вместо того чтобы благоразумно убраться из кабинета, он воскликнул:

– Но, ваше величество! Во имя Божие, откройте мне истину: кто спас меня? Кто просил вас обо мне? Кому вы дали слово?

Император поднял брови:

– Вы этого не знаете?

– Клянусь вам, нет, и даже не догадываюсь.

– Вот как!

В это время полковник, скромно стоявший у двери, тихонько и выразительно фыркнул.

– Что с вами? – раздраженно осадил его император. – Что смешного вы во всем этом видите? Извините, мсье Констан, я оставляю вас на несколько минут. Идемте, Монферран.

И он, подойдя к Огюсту, ладонью легко подтолкнул его к выходу.

Они вместе прошли через малый покой, миновали приемную и вышли на лестницу. Здесь Наполеон остановился и, облокотившись на лестничную балюстраду, с легкой улыбкой проговорил:

– Я был уверен, что вы поняли. Но раз нет... Вчера, в это же приблизительно время, мне доложили, что меня просит об аудиенции некая дама, которую отчего-то пропустили все патрули и часовые, не узнав даже, кто она и по какому делу, а просто потому, что она сказала им: «Мне нужно видеть императора». Я принял ее. Дама, к моему удивлению, была мне совершенно незнакома, я не видел ее среди придворных и знати, а между тем по осанке, манерам и голосу она – принцесса. На ней было бордовое с черным платье и покрывало, но она его подняла, когда я сказал, что хочу видеть ее лицо. Она преклонила колени, но с таким видом, с каким их преклоняют монархи перед папой, чтобы им возложили на голову корону. Она сказала, что пришла просить об одном человеке, недавно арестованном. Я спросил: «Кто он?» Она ответила: «Ныне никто, но в будущем – великий архитектор». – «Кто сказал вам это?» – спросил я. И услышал: «Господь Бог». С Богом спорить трудно, потому я далее осведомился,

за что вас арестовали. Она рассказала мне об альбоме и о том, что из-за этой невинной выходки вас обвинили еще и в других грехах. Тогда я спросил ее, роялист ли вы по убеждениям. И она сказала: «По убеждениям, ваше величество, он только художник». Я пообещал ей, что узнаю о вашем деле, и тут она посмотрела на меня взглядом, какого я не видывал и у королев, и проговорила: «Я пришла просить вас на коленях о его освобождении. И не встану с колен, пока вы не дадите слово его освободить, что бы вам о нем ни сказали. Он не изменник, это говорю вам я, ибо видела, как он умирал за Францию. И он гениален, значит угоден Богу. Спасите его, и Господь спасет вас!»

– Она вам так сказала?! – немая, прошептал Огюст.

– Да, именно так. И я понял, что, попроси она меня прежде, скажем, о помиловании Жоржа Кадудаль³², я бы его помиловал. Я дал ей слово, но захотел посмотреть на вас, посмотреть на того, кого она любит. Вот и все. Я вижу, вы поняли, о ком речь.

– Да! – вне себя воскликнул молодой архитектор и в порыве волнения, изумления, раскаяния закрыл лицо руками. – Боже мой, Боже мой!

– Довольно! – раздраженный возглас императора привел его в себя. – Эти чувства проявляйте не передо мной. Могу я вас спросить, кто эта дама?

– Она не назвалась вам? – спросил Огюст, стараясь говорить спокойнее.

– Нет, мсье, и я не осмелился спросить ее имя.

– Но если вы не осмелились его спросить, то как же мне осмелиться назвать его, ваше величество?

Наполеон расхохотался:

– Вы правы! Ну так ступайте теперь с Богом. Передайте ей мой поклон и скажите, что, по моему мнению, вы ее все-таки не стойте.

Огюст низко поклонился императору и, выпрямляясь, очень тихо ответил:

– Но вы забываете, ваше величество, что она на этот счет имеет другое мнение.

– Помню, – чуть нахмурясь, сказал император. – Но любовь слепа. Прощайте, мсье.

– Прощайте, ваше величество. Благодарю вас от всего сердца, и да хранит вас Бог!

И, поклонившись еще раз, Огюст почти бегом спустился по лестнице.

Он отправился к Элизе только на другое утро: его мучили стыд и горечь от того, как поразному они, оказывается, умели любить...

Комната мадемуазель де Боньер была заперта, а привратница вручила молодому человеку незапечатанный конверт с вложенным в него маленьким листком зеленоватой бумаги.

Письмо состояло всего из нескольких строк.

Мсье!

Я знаю, что Вы придете, поэтому оставляю для Вас это письмо. Если Вы сохранили свою гордость и порядочность, прошу Вас никогда больше ко мне не приходить и не искать встречи со мною. Прошу Вас об этом во имя великодушия!

Я никогда и ни в чем не была виновата перед Вами, но и Вы ни в чем не виноваты передо мной, а моя нынешняя услуга – лишь плата за Вашу доброту. К тому же я вполне удовлетворила свою женскую гордость и женское тщеславие. Мне сказали, что император звал Вас к себе, надеюсь, он не был с Вами суров...

Прощайте, мсье, и еще раз заклинаю Вас: сделайте так, чтобы мы не встречались больше.

³² Кадудаль Жорж возглавлял заговор против Наполеона в 1803 г.

*С благодарностью,
Элиза Пик де Боньер.*

Поблагодарив привратницу, молодой человек спустился по лестнице, вышел на улицу. Улица, как обычно, была пуста.

И Огюсту вдруг показалось, что опустел весь Париж, весь мир вокруг него, хотя на самом деле пусто сделалось только в его сердце. Ему никогда еще не доводилось испытывать такого страшного, такого непоправимого ощущения полного и бесконечного одиночества. Он готов был закричать от пронзившей его невыносимой боли. И если бы в эту минуту ему пообещали вернуть Элизу, если он откажется от всех своих мечтаний, от явившегося ему призраком золотого собора, от славы, от признания, он бы с благодарностью согласился на это...

XIV

Тетушка Жозефина Рикар, надев свой голубоватый от крахмала фартук и чепец, обрамленный крылышками, будто головка лепного херувима, неторопливо, но очень ловко, как-то по-особому красиво накрывала на стол. Ее добрые мягкие руки так ласково брали каждую тарелку, что казалось, тарелка сама, как живая, выскальзывает из них на стол, как раз на то место, где ей следует быть, причем становится на это место беззвучно, словно деревянную крышку стола покрывает не тонкая холщовая скатерть, а слой пуха. Молочник танцевал в руках тети Жозефины, покуда она несла его от шкафчика к столу, и белые капельки, брызнувшие с ложки на фарфор, смеялись, соприкасаясь с солнечными лучиками. Горка овсяного печенья в вазочке, когда она водрузила вазочку посреди стола, начала излучать сияние, словно печенье было вырезано из теплого сердолика, а стеклянная розетка, наполненная медом, превратилась на солнце в золотой слиток, и невидимая рука чародея сразу стала отливать из него золотых пчел, которые, сами собою возникая в воздухе, одна за другой закружились над ровной поверхностью меда.

– Кыш, кыш! – воскликнула тетя Жозефина и взмахнула над столом белым как сахар полотенцем, отчего закачались колокольцы цветов, стоявших сбоку стола в голубом горшочке, и из них выпорхнули еще две пчелы и тоже ринулись к меду.

Огюст рассмеялся. Как часто, наблюдая в детстве за этим священнодействием, он мысленно жил в настоящей сказке, где Жозефина становилась доброй феей, милой, но на редкость беззащитной, и каждый предмет на столе оживал от ее прикосновения и рассказывал ей и ему свою историю. Потом, став взрослым, он продолжал помнить эти сказки, но они делались почему-то все грустнее, по мере того как старели вещи, старел сам домик в Шайо, и (кто бы мог подумать!) начала стареть добрая фея...

Каждый завтрак, обед или ужин у тети Жозефины запоминался Огюсту, но этот завтрак ему суждено было особенно запомнить, и он имел особенный смысл, ибо это был последний его завтрак в родном доме. Он в последний раз видел эти стены, украшенные фарфоровыми тарелочками с рисунками, нанесенными на эмаль, которые он когда-то привез в подарок Жозефине из первого путешествия в Италию. Он в последний раз сидел за этим старым-престарым столом, прикасался к вещам, которые помнили его отца и мать, он в последний раз открыл и потом, уходя, закрыл за собою плакучую дверь, на которой матушка когда-то отмечала карандашом его рост (эти отметки так и остались на потемневшем косяке двери). Рано утром, когда он шел сюда, его в последний раз встретила простая торжественная музыка колокола маленькой церкви Сен-Пьер-де-Шайо, где венчались его родители, где тридцать лет назад, в голубое влажное январское утро молодой священник окрестил крошечное существо с белым кудрявым пухом на лысой головке и тем приобщил его едва явившуюся в мир душу к христианской вере... Это было давно. И его отец, и Мария-Луиза были давно, и даже дядюшка Роже уже, казалось, давным-давно ушел в таинственное Иное, и только Жозефина еще была здесь, еще владела этим миром детства и юности, еще совершала привычное священнодействие над знакомым столом, но спустя некоторое время и ей суждено было уйти в давно прошедшее, ибо это утро, этот день был днем прощания.

– Так, значит, ты все-таки едешь, мой милый? – нежно спросила Жозефина племянника, ловко скрыв в голосе печаль, только с любопытством и лаской.

– Еду, тетя, – ответил Огюст, надкусывая печенье и поливая его золотистый излом медом с серебряной ложечки. – Еду, увы. Ну а что еще остается делать? Моя служба в войсках императора раз навсегда сделала меня неблагонадежным в глазах королевского правительства. Я не могу рассчитывать на карьеру во Франции. И кому сейчас вообще здесь нужны архитекторы,

а? Ах, тетя!.. Меньше всего я хотел бы надолго покидать Францию, но судьба, как видно... Да и, в конце концов, многие до меня туда уезжали, и ничего с ними там не случилось.

– Но то было раньше! – воскликнула, невольно выдавая себя, Жозефина. – А теперь, после этой ужасной войны с Россией русские нас возненавидели... Но быть может, правда, не все?.. И что думает наш всемилостивый король Людовик? Неужто же все служили Наполеону по доброй воле? Ты бы хоть напомнил своему Молино, что тебя в период Ста дней посадили в тюрьму!

Огюст пожал плечами, подставляя свою чашку под тетин молочник.

– Посадили в тюрьму! Ха-ха! Выпустили ведь... А для правительства явным доказательством моего роялизма был бы только расстрел, но в этом случае, боюсь, мне было бы еще труднее найти работу. Так что, тетушка, ничего не поделаешь! Попытаю счастья в России. А вдруг повезет? Говорят, Рикары везучи... Вы как про себя считаете, а?

– Я на судьбу не жалуясь, мой мальчик, – просто отвечала Жозефина. – Господь не послал мне мужа и детей, но зато я смогла стать опорой для твоей бедной матушки, с которой все в нашей семье так жестоко обходились. А бедная Мария-Луиза всю жизнь была ребенком... Да и тебе моя забота ведь помогала иногда, да, Огюст, мое дитя?

Он, не ответив, ласково взял тетушкину руку и прижал ее к своей щеке. Она другой рукой нежно разворошила его кудри на макушке.

– Ой, тетя! А как же я их теперь уложу?

– Не сердись. Я тебя причешу уж напоследок по старой памяти и восстановлю твою модную прическу. Ах ты, мой кавалер! И костюм-то себе сшил, наверное, у лучшего портного?

– У одного из лучших, а вы как думаете? Что же я, опозорю Францию в глазах русских, для которых французы всегда были законодателями моды и хорошего вкуса?

Ах, знала бы тетя Жозефина, чего стоил Огюсту этот наимоднейший и изящнейший костюм, и шелковый галстук, и изысканные башмаки! Он далеко не все рассказывал о своих делах, и она не знала, что в последние недели он истратил почти все, что заработал, на уплату долгов, которых накопилось очень много, ибо удрать от кредиторов, которые тогда привязались бы к его родственникам, он не мог себе позволить. Таким образом, не то что ехать, но и жить становилось просто не на что, и, чтобы заказать себе костюм, купить дорожный саквояж, шерстяной плащ и шляпу, молодому архитектору пришлось отказывать себе последнее время во всем самом необходимом. Он ограничивался на завтрак и ужин куском ржаного хлеба и чашкой воды, а обедал в самых дрянных трактирах, причем порою вынуждал себя обедать через день, ибо деньги его таяли неумолимо.

– Но к кому же ты обратишься в России, мальчик мой? – спросила тетушка, садясь напротив Огюста и наливая себе чашку кофе. – С Модюи ты в ссоре, а кроме него, у тебя никого знакомых никогда там не было.

– Это верно, но я еду не с пустыми руками, – улыбнулся молодой человек. – Помнишь мсье Бреге? Ну, известного часовщика Бреге, которому я делал рисунки для его знаменитых дворцовых часов? Ведь с ним меня познакомил еще отец Тони... Так вот, я навестил его недавно, рассказал о своих планах, и он обещал мне помощь. У него в Петербурге живет хороший знакомый, даже друг, который ныне занимает там очень высокое положение, он начальник над главным строительным ведомством в Петербурге. Он жил долгое время в Париже, но родом испанец и, между прочим, мой тезка, только Бреге называет его на испанский манер «Августин». Фамилия его Бетанкур. Мсье Бреге дал мне рекомендательное письмо к этому человеку³³. К нему я и поеду.

– О, так это прекрасно! – воскликнула, немного успокаиваясь, тетя Жозефина.

³³ Известный парижский часовщик Бреге действительно написал для Монферрана рекомендательное письмо к Бетанкуру, где рекомендовал его как хорошего рисовальщика, ибо в других качествах просто его не знал.

Огюст не стал говорить ей, что осторожный Бреге, знавший только качество рисунков Монферрана и не смысливший в архитектуре, дал своему молодому знакомому весьма односложную рекомендацию: он охарактеризовал его как хорошего рисовальщика, и ничего более. Но за неимением лучших рекомендаций Огюст решил положиться и на такую...

– Ну а есть ли у тебя теплая шуба? – с волнением спросила вдруг Жозефина. – В России ведь ужасно холодно! Как же ты будешь там без шубы?

– Тетушка, шубу я куплю себе к осени! – расхохотался Огюст. – И даже к зиме, скорее всего. Сейчас конец апреля, значит, в середине июня, и никак не раньше, я буду в Петербурге. В середине июня, понимаете? Там же тепло в это время, там тоже цветут цветы и растет трава. Ну не станут ли на меня показывать пальцами, если я появлюсь там в шубе, а? Они скажут, что французы после отступления из России зимой двенадцатого года посходили с ума... Нет, плаща мне будет довольно.

– Раз ты уверен, что там тепло, то поезжай в плаще! – вздохнула тетушка. – Но... – тут она запнулась. – Неужели ты уедешь, даже не простившись с Люси?

Огюст помрачнел.

– Да, уеду не простившись, – сурово ответил он. – Я так решил.

– Но... – опять начала Жозефина. – Ведь это твоя невеста, вы же обручены... Если ты так уедешь, это будет...

– Подло? – резко спросил Огюст. – Да, наверное. Но я не хочу этой свадьбы, понимаете, тетя? Обручиться меня вынудили, вы это знаете, и я не люблю мадемуазель Шарло... А если они станут меня разыскивать... Что же, пускай достанут в Санкт-Петербурге! Ничего, выкручусь... Еще, может быть, женюсь на какой-нибудь русской княжне, они, говорят, хороши необычайно... Правда, я могу им не понравиться...

– Ты нравишься всем! – уверенно заявила Жозефина и поцеловала племянника в растрепанный затылок.

Они простились вечером.

Через день был назначен отъезд, и Огюст оставил себе сутки на сборы. Ему было почти не на что ехать, но, к счастью, один из его приятелей, отставной офицер Луи де Бри, собиравшийся по своим делам в Варшаву, а так как ехал он вдвоем со слугою в большой роскошной карете, то и предложил Монферрану до Варшавы сопровождать его, разумеется не требуя за то денег, а лишь приятной компании во время путешествия. От Варшавы до Петербурга путь предстоял тоже не самый близкий, однако это было в некотором роде спасением, и Огюст с радостью принял предложение де Бри. Он мог (ибо в карете оставались свободны два места) прихватить с собою и слугу, но ему некого было прихватывать. Гастон бросил своего хозяина три месяца назад, заявив, что его не устраивает нерегулярная выплата жалованья. Вообще-то, Огюст все равно едва ли взял бы с собою Гастона: он умел сам себя обслуживать, а денег едва хватало на путешествие в одиночку...

Утром следующего дня (следующего за посещением тети Жозефины) Монферран самым тщательным образом сложил свой саквояж, оказавшийся, несмотря на малые размеры, полупустым, проверил, все ли взято, что взять было необходимо, и, зайдя затем к хозяину дома, расплатился с ним за квартиру, сказав, что приискал себе по случаю предстоящей женитьбы другое место жительства. Это была необходимая предосторожность: узнай мсье Пьер о намеряющемся побеге милого зятя, он мог пустить в ход все средства, вплоть до услуг полиции...

К полудню все приготовления были завершены. Огюст решил не сидеть понапрасну дома, взирая на застегнутый саквояж, а пойти прогуляться, обойти свои любимые места в Париже, попрощаться со знакомыми улицами, которые ему неизвестно когда еще придется вновь увидеть.

Ему ужасно хотелось, кроме того, зайти в какое-нибудь заведение подешевле и выпить за отъезд хотя бы один бокал шампанского, но, пощупав свой кошелек, он вынужден был отка-

заться от этой мысли и решил понадеяться на Луи де Бри, который завтра наверняка предложит распить бутылку доброго зелья в своем доме. Надеясь также на обильный завтрак, без которого Луи не двинется в путь и который он, несомненно, разделит с товарищем, Огюст отказался и от обеда, решив, что последний день в Париже должен пройти быстрее остальных и он не успеет умереть с голоду.

И действительно, о еде он в этот день думал мало. Ему было не грустно и не весело, но как-то тревожно, он не мог спокойно думать о том, что через месяц с небольшим окажется совершенно один в незнакомой огромной стране, которая недавно была так враждебна Франции, где его могут принять неласково, и неизвестно, как обернется его отчаянное предприятие. Император Александр мог давно забыть о подаренном ему альбоме, а тот самый инженер-испанец, к которому его адресовал мсье Бреге, мог отмахнуться от докучного протезе своего бывшего друга, тем более если он любил французов, как все прочие испанцы...

Но не только и не столько эти мысли мучили молодого архитектора. Он думал больше всего о том, что уедет, даже не простившись с Элизой...

Раза три за день ноги приносили его к знакомой улице, за которой по-летнему празднично зеленел сад.

Элиза жила там же, в том же доме, в той же квартире, это Огюст узнал через ее цирковых поклонников, и за этот год, за год, что прошел после получения им ее доброго и уничтожающего всякую надежду письма, он много раз хотел просто пройти мимо ее окон, чтобы случайно увидеть ее, чтобы она случайно его увидела, посмотрев в окно... Но стыд и гордость удерживали Огюста.

И вдруг в этот день, осознав, что это последняя возможность и другой уже никогда не будет, он решился.

На улице стал моросить мелкий невесомый дождь, а зонт, купленный специально для путешествия, остался дома, и это подогнало его. «Испорчу костюм, куда же не поеду!» – с ужасом подумал он и бегом кинулся к дому.

Привычно зазвенел колокольчик. За дверью проскользили едва слышные шаги, и дверь отворилась.

Элиза стояла на пороге, поправляя левой рукой гребень в прическе. На ней было знакомое Огюсту светло-голубое платье, ее любимое.

Глаза ее загорелись и тут же погасли, когда она прямо перед собою увидела Огюста. Чуть-чуть дрогнули пальцы на косяке двери. Но голос не задрожал, когда она удивленно спросила:

– Вы?

– Не прогоняй меня! – быстро и твердо сказал он, глядя ей в лицо. – Я пришел проститься с тобою. Я завтра уезжаю навсегда.

– Вот как? – Она отступила в комнату, не притворяя двери. – Ну так зайди же.

Снова она говорила ему «ты». Это рождало крошечную надежду, и молодой человек вошел, уже не так робея и не так боясь, что встретит презрение и смех.

В комнате ничто не изменилось, все было по-старому и на своих местах, не прибавилось новых вещей, и Монферран подумал, как нелепо было подозревать в изменах женщину, которая за три с лишним года нисколько не разбогатела, хотя ей выказывали свое обожание самые толстые кошельки Парижа...

– Садись. – Элиза села и указала ему на диван. – И куда ты едешь?

– В Россию. В Петербург. Здесь мне в ближайшие годы надеяться не на что, а ждать я не могу: денег нет на ожидание. И работать хочется. В Петербурге много строят.

– Ты думаешь там построить свой собор? – спросила она, чуть улыбнувшись, но в этой улыбке не было насмешки.

– Не знаю, что я там построю. Собор – это мечта, может быть, просто бред, привидевшийся раненому. А жить нужно реальностью, Элиза. Буду работать и увижу, чего я стою...

Он опустил голову. Ему хотелось сказать ей давным-давно приготовленные слова, но они жгли горло и язык, и выговорить их он не мог... Она тоже молчала.

И вдруг спросила:

– Почему ты так похудел и куда девался твой румянец? Неужели так уж туго пришлось?

– В последнее время – да, – просто сказал Огюст. – Питаюсь главным образом надеждами, а от них почему-то никто не толстеет. К отъезду пришлось раздать кучу долгов и многое покупать.

– Вот как! – Она встала и жестом показала ему, чтобы он оставался сидеть. – Ты обедал сегодня? Будешь обедать со мной?

Он покраснел:

– Я не потому тебе сказал, что я...

– А нельзя ли без этого? – Ее брови сердито взлетели вверх. – Можно ведь ответить «да» или «нет», не изображая оскорбленную гордость.

– В таком случае скажу «да»!

– Ну вот и прекрасно, потому что я тоже проголодалась.

И она с поистине молниеносной быстротой накрыла на стол. Они пообедали молча, ибо Элиза понимала, что ее гостю слишком хочется есть, чтобы он мог говорить за едой. Когда тарелки опустели, хозяйка сварила на старой жаровенке кофе.

– Элиза... – Огюст поднял на нее глаза и увидел на ее лице улыбку. – Чему ты улыбаешься, а?

– Тому, что у тебя опять румянец на щеках. Что ты хотел мне сказать?

– Я хотел спросить... Ты, когда я уеду, ведь не сразу забудешь меня?

Она пожала плечами:

– А ты бы как хотел?

– Я бы очень хотел, чтобы ты помнила меня хотя бы недолго. Только, ради Бога, ты поминай меня добром, хорошо?

Голос его стал так серьезен, а глаза так печальны, что улыбка пропала на лице Элизы. А он продолжал:

– Мне очень-очень важно, чтобы именно ты не держала на меня зла в сердце. Если ты вспомнишь меня иногда добрым словом, мне там будет легче. Понимаешь, я не знаю, что меня ждет, мне может быть очень трудно... Если ты благословишь меня, Элиза, я, наверное, сумею победить.

– Я благословляю тебя, Анри! – сказала она твердо, но, не выдержав, опустила глаза.

Огюст вздрогнул:

– Анри! Ты назвала меня Анри, как раньше... Так, значит... Значит, ты будешь за меня молиться, Элиза? Искренно, от всего сердца?

– А ты думаешь, все последнее время, все время, что мы не виделись, я не молилась за тебя? – В голосе ее был не упрек, а только одно удивление. – Я молилась, Анри. Искренно, от всего сердца.

Он опустил голову. В эту минуту у него так заколотилось сердце, что захотелось прижать его рукой, – казалось, оно собиралось пробить грудь изнутри. Надо было решиться. Сейчас или никогда, и, собравшись с духом, он проговорил:

– Элиза, а что, если бы я предложил тебе поехать со мною, а?

Тотчас он поднял глаза и увидел, как на миг изменилось выразительное Элизино лицо, по нему пронесся целый ураган чувств, но они сменяли друг друга так стремительно, что невозможно было за ними уследить.

– Поехать с тобою? – переспросила она. – Это в Петербург, да?

– Да, в Петербург.

– И ты мне это предлагаешь?

– Да. То есть я прошу тебя об этом! – поспешно добавил Огюст.

Она вдруг рассмеялась и по привычке звучно щелкнула пальцами.

– О-ля-ля! Это мне нравится! Люблю неожиданные предприятия! Я согласна, Анри.

– Ты согласна?! – не веря себе, прошептал Огюст.

– Я же сказала «да». В цирке я никому ничего не должна. Мне должны, но придется расстаться с небольшой суммой, хозяин не захочет отпускать меня и не выплатит мне расчета. Но кое-что у меня есть. Вот!

Она раскрыла висящий на стене шкафчик, вытащила оттуда круглую коробочку и из коробочки извлекла шелковый кошелек, который упал на стол с нежным звоном.

– Здесь почти сто франков.

– Сто! – Огюст печально усмехнулся. – А у меня только сорок семь. Ты в два с лишним раза богаче, Лиз...

– Но я дама, мне больше и нужно. Возьми кошелек. Не я же буду тратить в дороге деньги.

Он не знал, что еще сказать. Ее спокойная решимость, полное отсутствие сомнения вызвали у него смятение, он испугался:

– Лиз... Я еще не знаю даже, найду ли работу. Там может быть вначале очень трудно. Тебя это не пугает?

– Нет. – Она смотрела на него спокойным, ясным взглядом. – Я умею переносить все трудности. Когда ты едешь? То есть когда мы едем, Анри?

– Завтра. А ты успеешь собраться за один вечер?

– За один вечер? Хм...

Элиза распахнула шкаф, вытащила оттуда вешалку с двумя платьями, малиновую шаль, какую-то кофточку, нечто пенно-кружевное со множеством оборок, круглую коробку, должно быть со шляпой, свой синий халат, мешочек, набитый доверху чем-то разноцветным, затем извлекла большую высокую корзину круглой формы, вроде тех, в которых носят фрукты, только с крышкой, ловко и быстро сложила туда все, извлеченное из шкафа, не комкая, а аккуратно сворачивая каждую вещь, сунула сбоку плоскую шкатулку черного дерева, круглую коробочку, в которой прежде был ее кошелек, добавила ко всему этому маленькую вазочку богемского хрусталя, которую перед тем завернула в платок, и затем захлопнула крышку корзины и закрыла ее на застежку.

– Вот и все, – сказала она, снова садясь на диван и беря недопитую чашечку кофе, который не успел даже остыть.

Огюст расхохотался. Теперь его уже ничто не удерживало, и он, подойдя к Элизе, сел рядом с ней и осторожно опустил голову ей на плечо. Знакомый запах ее волос чуть не свел его с ума, он испугался, что сейчас, закрыв глаза, откроет их в каком-то другом месте и Элизы не будет рядом.

Она, угадав его смятение, повернула голову и поцеловала его в завитушки на виске. У него вырвался не то вздох, не то стон, и он прошептал:

– Мне было плохо... Мне было плохо без тебя, Элиза!..

– Отчего же ты не пришел раньше? Я ведь даже не сменила квартиру...

– Но ты запретила мне приходить!

– Да? – Теперь она говорила с ласковым упреком. – И ты поверил, что я не хочу тебя видеть?

Огюст молча спрятал лицо в ее волосах, черной волной падавших на затылок. Потом у него вырвалось:

– Боже! Какой же я трус и идиот!

Она опять рассмеялась:

– Что ты! Просто ты веришь всему, что говорят и пишут, а я об этом не подумала. Маленький ты мой!

Если бы кто угодно другой назвал его маленьким, он бы вскипел от ярости. Но в устах Элизы это слово прозвучало самой нежной лаской. И Огюст совершенно растаял.

– Спасибо тебе. Уже поздно, и на улице идет дождь, а я без зонтика. Можно мне остаться?

– Само собою. – Элиза встала, осторожно отстранив его. – Прежде ты не спрашивал разрешения, Анри.

– Прежде я не знал, что перед тобою трепещут великие мира сего и император Наполеон не осмелится спросить, как твое имя... Да, а ты знаешь, что он мне сказал, когда я уходил, а? Он сказал, что, по его мнению, я тебя не стою.

– Это он от зависти, – просто сказала Элиза, принимаясь стелить постель. – Можешь снова, если угодно, начать ревновать, но мне показалось, что я ему понравилась.

Часть вторая
Состязание



Часть вторая
СОСТЯЗАНИЕ



I

Их путешествие длилось полтора месяца. Путь до Варшавы был, само собою, короток и приятен, но затем началась мучительная тряска на перекладных, и начиная от границы России потянулись ужасные, трудновыносимые дороги, и от города к городу приходилось тащиться по-черепаши, моля Бога о хорошей погоде, ибо во время дождя в иных местах было и вовсе не проехать.

На пути к Пскову все же застигли дожди, и едва ли не полдня карета ползла по размытой, обратившейся в черное месиво дороге. Кучер отрывисто бранился, грозил кулаком тучам, облепившим небо, и отчаянно хлестал лошадей.

Но после полудня вдруг показалось солнце, тучи разошлись, и сделалось очень тепло, так тепло, что земля стала быстро просыхать, от густой травы и деревьев пошел легкий пар.

Дорога тянулась теперь через негустую смешанную рощу. Часто попадались поляны, заросшие мелким кустарником и покрытые цветами.

Вдруг раздался скрип, и карета опять накренилась на бок. Ее заднее колесо засело в глубокой рытвине.

С козел донесся злой голос кучера, и слышались звучные хлопки кнута по крупам лошадей.

Огюст открыл дверцу и крикнул кучеру:

– Не убей бедную скотину! Слез бы и толкнул сзади, а я бы вожжи взял!

Кучер, не понявший, разумеется, ни слова, повернул голову и рывкнул в ответ что-то вроде:

– И так уже с лошадей шкуры сдираю! Невтерпеж ему, экий барин! Вот слезь да пихни сзади карету-то!

Огюст понял не все, ведь, готовясь к поездке в Россию, только начал учить русский язык.

– Что он тебе говорит? – полюбопытствовала Элиза. – Ты хоть что-то понял?

– Понял, что меня обругали, – отозвался Огюст, закрывая дверцу.

В это самое время за деревьями, хороводом окружившими небольшую поляну, посреди которой застряла карета, послышался звук рога и собачий лай, а затем донесся выстрел и за ним другой.

– Охота, кажется, – сказала Элиза, с интересом выглядывая в окно, но пока что за окном ничего не было видно.

Кучер наконец слез с козел и принялся ломать ветки с ближайшего куста, чтобы затолкать их под колесо. Покуда он это делал, шум охоты приблизился, и вдруг совсем рядом хлопнул еще один выстрел, а за ним раздался истошный вопль, и на поляне появилось существо, которое в первый момент смотревшие из окна кареты готовы были принять за преследуемого зверя...

Из-за деревьев это существо выскочило почти на четвереньках, скользкая трава уходила у него из-под ног, заставляя спотыкаться и хвататься руками за землю. Потом бегущий выпрямился и помчался через поляну, шатаясь и скользя. Огюст и Элиза успели заметить только развевающиеся лохмотья его одежды и лохмы светло-каштановых волос над темным перекошенным лицом.

За ним на поляну выскочил второй человек, тяжелый и коренастый, в высокой шляпе и с ружьем в руке. Рыча, как гончий пес, он стремительно настигал первого.

– Что это такое, Анри? – испуганно вскрикнула Элиза. – Он его, кажется, убить хочет!

В этот момент преследуемый подлетел к карете, застрявшей в дорожной колее, и, в ужасе ничего не видя перед собою, всем корпусом врезался в нее. Его сразу отбросило назад, тотчас подоспел его преследователь и прикладом ружья что есть силы ударил беглеца между лопаток. Тот коротко ахнул и, ткнувшись лицом и грудью в дверцу кареты, начал сползать на землю.

Но ударивший все с тем же рычанием схватил его свободной рукой за встрепанные волосы и, дернув к себе, с силой толкнул лбом в медную обивку дверцы.

У жертвы вырвался короткий крик, сразу перешедший в хриплый стон, потому что преследователь, не выпуская его волос, принялся яростно и размеренно колотить его головой о дверцу кареты...

– Анри!!! – дико закричала Элиза, дергая дверцу и от испуга забывая повернуть ее ручку.

Огюст, в первый миг оторопевший, тотчас очнулся, мгновенно распахнул дверцу с другой стороны, выскочил из кареты и, обогнув ее, сзади накиннулся на убийцу. Он схватил его за руку и, что есть силы стиснув ему кисть, заставил разжать пальцы и выпустить жертву. Перед молодым архитектором мелькнул свирепый оскал звериной рожи, и затем в лицо ему хлынул поток ругани, из которой он не понял ни единого слова.

Огюст оттолкнул от себя убийцу, и тогда тот в ярости замахнулся на него прикладом.

– Посмей только, негодяй! – закричал Монферран. – Если ты бьешь человека, будто скотину, то не воображай, что всякого легко ударить!

– А-а-а! – воскликнул свирепый господин, ставя ружье прикладом на землю и упирая руки в бока. – Фра-а-ан-цузик! Завоеватель!

И затем продолжал на плохом французском:

– А какого, позвольте, дьявола, мсье, вы ко мне лезете?! Кой черт меня за руки хватаете? Я на своей земле, я тут хозяин! Я помещик Антон Сухоруков, столбовой дворянин!

Такое заявление не удивило Огюста. Он и так уже догадывался, что перед ним не мужик и не пьяный разбойник.

– На вашем месте я не хвалился бы благородством крови, мсье! – сквозь зубы проговорил Монферран. – Вы ведете себя по-скотски. Взгляните, что вы сделали с человеком!

Жалкая фигура в грязных лохмотьях безжизненно валялась на земле возле кареты. Лоб упавшего был в крови, струйки крови текли у него из носа и изо рта.

Сухоруков засмеялся.

– «С человеком»! – повторял он весело. – Ха! «С человеком»! Это тебе он, может, человек, а мне он холоп, раб! Я его, дурака поганого, давно убить собирался, вот теперь и убью, чтоб зря и мякины не жрал! Этот ублюдок мне пыж в ружье неверно загнал!

– И за это у вас убивают, мсье Сухоруков?! – вскричал Огюст, и в его голосе смешались гнев и насмешка.

– У нас хозяева есть для мужичья! – взревел помещик. – А у вас болтают много и революции делают! Вам тут что понадобилось, мсье болтун?! Катитесь в свою Францию, а не то, так к своему Наполеону!

Огюст сдвинул брови и в бешенстве сжал кулаки.

– Осторожнее, мсье! – произнес он. – Я тоже дворянин и так разговаривать с собою не позволю!

– А мне плевать, кто ты! – Сухоруков и в самом деле сплюнул и вскинул свое ружье. – Вот холопа пристрелю и разберусь с тобой...

Огюст хотел вновь схватить помещика за руку, ибо тот уже взвел курок и направил дуло на упавшего, но Сухоруков вдруг сам опустил ружье и ошарашенно отшатнулся: вороненая сталь ствола коснулась груди женщины.

– В меня стреляй, мерзавец! – крикнула Элиза, распахивая накидку и указывая на свою грудь, лишь наполовину скрытую батистовым кружевом, будто пена обрамлявшим глубокий вырез платья.



– Фу ты, леший! Ведьма! – по-русски рывкнул Сухоруков.

– Элиза, отойди! – В испуге Огюст встал между нею и помещиком.

– Не отойду! – Она задыхалась, лицо ее горело. – Анри, скажи ему, чтоб он не смел так истязать человека!

– Вот что, мсье, как вас там, я не знаю! – резко бросил Сухоруков. – Проваливайте с моей земли, не то я живо кликну моих охотников, и они вам укажут отсюда дорожку, как в двенадцатом году! Понял, пожиратель лягушек?! Вон! И уйми свою даму!

Злобная физиономия Сухорукова принимала все более грозное выражение, но и Монферран уже пришел в бешенство и не собирался отступать.

– Послушайте, мсье, вы перешли все границы! – произнес он спокойно. – Вы нанесли оскорбление и мне, и моей жене, и я заставлю вас отвечать. И немедленно. Я здесь по приглашению императора, имейте это в виду. Сию же минуту дайте мне удовлетворение, слышите? Я этого требую.

Помещик изумленно уставился на Огюста:

– Удовлетворение? Вы что же, стреляться со мной будете?

– Да! – Голос Огюста зазвенел сталью. – Да, буду! Здесь же и сейчас же!

– Вот бес, гром тебя разрази! – рывкнул по-русски помещик и по-французски проговорил уже не так уверенно, ибо ловко вставленная Огюстом ложь относительно императорского приглашения смутила грубияна. – Какого черта, мсье? Я даже не знаю, кто вы... И пистолетов нет у меня. Из чего стреляться?

– Извольте, я представляюсь. Огюст Рикар де Монферран, с вашего позволения, отставной квартирмейстер императорской армии. И пистолеты, извольте, вот!

Он вскочил на подножку кареты, отстранив Элизу, которая при последних его словах побледнела, но сохраняла молчание, из саквояжа вытащил коробку с пистолетами и, раскрыв ее, сунул под нос Сухорукову:

– Выбирайте!

– Хорошие пистолеты! – вскричал помещик, тронув рукой серебряную насечку на стволах. – Ого, и надпись... «Огюсту Рикару, лучшему стрелку 9-го Конногвардейского полка и одному из самых отважных его солдат от генерала Шенье...» Да вы и вправду военный, да еще и лучший стрелок... Ну так я стреляться с вами не стану... Вы, черт возьми, убьете меня – я пистолета лет двадцать в руках не держал.

– Ах вот как! – с издевкой проговорил молодой человек. – Так вы не защищали своего отечества, мсье патриот? Ну-ну... Не хотите стреляться, велите принести сабли, я и фехтую неплохо.

– А я плохо! – Сухоруков смотрел на Огюста уже почти возмущенно, будто тот требовал от него чего-то гадкого и недозволительного. – Вам, верно, нет и тридцати лет, а мне, между прочим, сорок три! У вас дыхание лучше. Нет, я не стану с вами драться, увольте!

– В таком случае сию минуту попросите извинения!

На широкой красной физиономии промелькнула ухмылка, то ли раздосадованная, то ли пренебрежительная. Махнув рукой, помещик проворчал:

– Бог же с вами! Извините... Какой вы горячий...

Элиза перевела дыхание и перекрестилась, но тут же глазами указала Огюсту на бедного сухоруковского невольника, который в это время привстал с земли и смотрел на все происходящее бессмысленными, мутными от боли глазами.

– А что будет с этим человеком, мсье? – спросил Монферран.

Помещик фыркнул:

– Он ни к чему не годен, мне до него потребности нет никакой. А если вам так его жалко, извольте, я вам его продам. Покупайте.

Щеки Огюста залил румянец.

– Слышишь, Лиз, для начала мне предлагают стать рабовладельцем! Мсье Сухоруков, я купил бы у вас беднягу, чтобы вы не убили его, но у меня нет денег.

– Ах, денег у вас нет, зато гордости много! – не скрывая пренебрежения, помещик опять сплюнул. – Ну, ну, стало быть, и не купите. А впрочем, если вам уж очень хочется, извольте, я готов вам отдать этого щенка за ваши пистолеты, они мне нравятся.

– По рукам! – воскликнул Огюст, не заметив даже оскорбительного тона господина Сухорукова и боясь только, как бы тот не передумал.

Но Сухоруков явно обрадовался такой сделке.

– Прекрасно! – возопил он. – Сейчас же и поеду с вами в город, да там, в крепостной экспедиции, все и оформим. За оформление подъячим я, так уж и быть, заплачу сам...

Говоря это, он деловито разрядил ружье, спустил курок и потом повернулся к своему невольнику:

– А ну, вставай, Алешка, сукин сын! Полезай на козлы, к кучеру: он, кажись, сейчас карету-то вытянет из грязи. И в Псков по прямой дорожке, на моей земле дороги славные! Продаю тебя, скота, этому белобрысому французишке, пускай он из тебя, твари паршивой, дух вышибает!

Два часа спустя они доехали до Пскова и там, в крепостной экспедиции, совершили сделку, после чего коробка с пистолетами генерала Шенье торжественно была передана господину Сухорукову.

– А теперь, – сказал ему Монферран, – возьмите на себя труд, мсье, сказать господам чиновникам, что я прошу их составить еще документ об освобождении мною этого невольника.

Сухоруков дико глянул на молодого человека и во весь голос расхохотался:

– Да вы действительно сумасшедший! Ну да будь по-вашему, скажу. Только вот уж за этот документ извольте платить сами!

– Заплачу, – сквозь зубы проговорил Огюст. – Переведите только все, что нужно, и я более вас не задерживаю.

Еще через полчаса все было закончено. Начальник крепостного стола, выйдя в коридор за странным путешественником, распрощался с ним на ужаснейшем французском языке, а затем объяснил сидевшему в конце коридора на табурете Алешке, что тот свободен и может, стало быть, идти, куда ему вздумается. Тот, ничего не понимая, выслушал это сообщение и ошеломленно уставился сначала на начальника стола, потом на своего нового хозяина, который так неожиданно и сразу перестал быть ему хозяином.

– Отпускаете, барин? – еле слышно спросил он.

У него был чуть хриловатый, еще почти мальчишеский голос, и Огюст, рассмотрев наконец его лицо, увидел, что он действительно едва ли не мальчик, ему было не больше восемнадцати-девятнадцати лет. Лицо у него было округлое, несмотря на сильную худобу, некрасивое, но удивительно привлекательное благодаря мягкому взгляду серых, чуть-чуть раскосых глаз, чистых, будто у ребенка.

Вопрос Алешки Огюст понял, вернее, не зная слов, угадал его смысл.

Кивнув, молодой человек проговорил как можно яснее два русских слова, выученных в Париже:

– Да. Иди.

И улыбнулся, чтобы у бедняги исчезли все сомнения.

II

К концу этого сумасшедшего дня путешественники, чувствуя себя совершенно разбитыми, водворились наконец в один из номеров захолустнейшего трактира славного города Пскова.

Обеда, а вернее сказать, ужина Огюсту не удалось истребовать, и из пространных речей и жестов хозяина он понял, что у того вроде бы кончились припасы, а лавки уже позакрывались, но завтрак непременно будет. Однако же приезжим был предложен чай и весьма солидный кусок пирога с козлятиной, которым они и насытились, оставив еще порядочный кусок на утро, чтобы завтрак заказать самый дешевый.

Хозяин был очень учтив и ловко умел обращаться со своим немалым запасом французских слов (он знал их около десяти).

Путешественникам была отведена комната под самой крышей трактира. В комнате стоял шкаф красного дерева, времен, вероятно, императрицы Елизаветы, дальний угол возле небольшого окошка занимала широкая кровать безо всякого полога, рядом с ней пристроился табурет с умывальным тазом и кувшином, дальше – столик с кривым зеркалом и пара стульев, а в углу, противоположном кровати, возле самых дверей, громоздился величественный широкий сундук.

Улечься спать усталым путникам долго не удавалось: оказалось, что в комнате очень холодно, и пришлось требовать, чтобы затопили печь. Ее затопили, и молодые люди наконец легли, но уже за полночь проснулись от духоты. Печь, которую с весны не топили, напустила в комнату дыма, и от него у обоих запершило в горле.

Огюст встал, накинув халат, зажег свечу, сильнее выдвинул заслонку печи, чтобы, чего доброго, еще и не угореть, и затем распахнул окно.

– Сейчас проветрится, – сказал он, высовывая голову наружу и вслушиваясь в тишину города, спящего мертвым сном.

– Пока проветрится, я задохнусь. – Элиза тоже встала и надела халат. – Я выйду на лестницу, Анри, там прохладно. Подышу минут пять и вернусь.

– Хорошо, только во двор одна не выходи, – сказал ей вслед молодой человек.

Она, бесшумно ступая мягкими туфлями, прошла через комнату, отперла дверь и, толкнув ее плечом, вышла. Прошла, быть может, минута, и вдруг с лестницы донесся короткий возглас и вслед за тем резкий испуганный крик: «Ах! Анри!»

Огюст, как кошка, прыгнул к кровати, сорвал с крючка свою саблю и молниеносно обнажил ее, затем другой рукой ухватил со столика подсвечник со свечой и, высоко подняв его над головой, вылетел на лестницу.

Он тотчас увидел Элизу, прижавшуюся к стене посреди верхнего пролета, а чуть ниже, возле самых ее ног, – фигуру человека, который, очевидно, для чего-то расселся, а то и разлегся на площадке и на которого мадемуазель де Боньер наступила, спускаясь в темноте к закрытому лестничному окну.

– Анри, ничего страшного, я зря закричала, – поворачивая бледное лицо к своему спутнику, прошептала Элиза. – Но... прямо под ноги!

– Что это значит?! Что тебе здесь надо, негодяй?! – Монферран замахнулся саблей и тут же в растерянности опустил ее: в незнакомце, смотревшем на него снизу вверх робким и преданным взором, он узнал бывшего сухоруковского крепостного, своего сегодняшнего вольноотпущенника.

– Как ты сюда попал?! – ахнул молодой архитектор и выпалил вспомнившуюся ему кстати русскую фразу: – Какого чьерта?!

Юноша встал и низко поклонился, так что его нечесанные волосы, упав на лоб, закрыли брови и даже глаза. Потом он заговорил мягким голосом, немного нараспев, но изо всей его речи Огюст понял лишь несколько слов и из этих слов уяснил, что непрощенный гость не желает оставлять недавних хозяев.

– Но что тебе от меня надо, а? – сердито воскликнул Огюст. – На что ты мне нужен? Ступай себе с Богом!

И он энергично махнул рукой в сторону двери. Но юноша затряс головой:

– Христом Богом, барин...

И продолжал еще что-то говорить, умоляюще сложив руки.

– Анри, по-моему, он хочет остаться у тебя на службе, – сказала Элиза, все это время с величайшим сочувствием смотревшая на лохматое, оборванное существо.

– Это я и так понял! – раздраженно ответил Монферран. – Но мне же нечем ему платить! Да и вообще, что за нелепость – завести себе русского слугу, не умея по-русски говорить! Найдем в Петербурге какого-нибудь француза, их там сейчас больше, чем когда-либо...

– А мне кажется, в России русский слуга будет полезнее, – заметила молодая женщина.

– Да, тебе кажется? – Огюст уже готов был сорваться. – А не кажется ли тебе, что в этом хотя бы ты могла бы меня не учить, Лиз?

– Я учу тебя не так уж часто, – без тени обиды проговорила она. – Но в самом деле, Анри, возьмем его... по-моему, он один на свете!

– Возможно. Но у меня, в конце концов, не приют для сирот!

– Будьте, барин, милостивы, – продолжал парень, видя, что его не понимают, но, во всяком случае, слушают. – Возьмите за-ради Христа!

– Да при чем здесь Христос?! – взорвался Огюст и схватил юношу за локоть. – Ну-ка, в комнату заходи, нечего топтаться на лестнице. Заходи, поговорим!

Они все втроем вошли в номер, и молодой архитектор, заперев дверь и швырнув свою саблю в угол, уселся за столик и жестом велел гостю сесть напротив на второй шаткий табурет. Элиза, не снимая халата, вновь забралась в постель и села, подтянув колени к подбородку и обняв их руками.

Старательно припомнив все русские слова, выученные им в Париже, Монферран вздохнул поглубже и проговорил, пальцем тыча в бывшего невольника:

– Ты как имя? Альеша?

Сухоруков называл своего крепостного Алешкой, но это имя запомнилось Огюсту немного по-другому, и он, сам того не ведая, произнес его именно так, как и следовало.

Парень радостно кивнул:

– Ага. Алеша. Алексей. Алексей Самсонов...

– Так! – Огюст опять перевел дыхание. – Вы... ты... Тьфу! Вы желание... (О, Господи, как это?!) А! Желание служить?

– Ага, ага! – Алексей опять закивал, и опять светло-каштановые лохмы весело рассыпались по его круглому лбу. – Очень даже большое желание имеем послужить вам, ваша милость! А что я языка вашего не смыслю, так ведь то не беда: перейму враз!

Огюст жалобно покосился на Элизу. Она улыбнулась.

– Чему ты радуешься? Ну вот что он говорит? – На висках молодого человека начал проступать пот. – Вот привязался, в самом деле! Ну послушай, Альеша, – дальше он уже никак не мог сказать по-русски, – послушай и пойми: я взял бы тебя на службу, но мне нечем тебе платить, понимаешь? У меня денег нет!

Вскочив с табурета, он схватил с вешалки свой фрак, потряхнув его над столом, вывернул карманы, а затем, вытащив из внутреннего кармана кошелек, вытряхнул на стол все, что там оставалось.

– Видишь? Совсем мало! Ну чем я стану тебе платить? Чем, а?

Алексей замахал руками и заговорил быстро, горячо, обиженно.

– Ох, с ума ты меня сведешь! – Огюст вытер лоб платком. – Ну что с тобой делать? Ты что же, совсем один? Отец или мать есть у тебя?

Слово «отец» и «мать», на русском и французском почти одинаковые, были поняты Алексеем тотчас. Он мотнул головой. И опять прошептал:

– Нету у меня никого. Ни мамки, ни батьки, ни сестер, ни братьев. Родня так, кой-какая, да что в ей проку? Кому я нужен? Меня боле трех лет и в деревне почти что не видали, как хозяин-то, Антон Петрович, изволили меня в дворовые забрать... Барин! Христом Богом вас прошу!

– Ну полно, оставь Христа в покое! – не выдержал Монферран. – Бог с тобой, сегодня оставайся, куда ты среди ночи пойдешь? Утром подумаю, куда деть тебя. До Петербурга, наверное, возьму с собой, а там, может, куда-нибудь пристроишься, город большой! Да, Элиза? Поведем этого красавчика в Санкт-Петербург? Если там действительно бегают по улицам медведи, во что я, впрочем, нимало не верю, то он весьма подойдет для такого пейзажа!

– Анри! – с упреком заметила Элиза. – Ты бы лучше дал ему чего-нибудь поесть, он же, наверное, голодный...

Огюст пожал плечами:

– Возможно! А что я ему дам? У нас остался кусок пирога с мясом, но мы сами собирались его съесть утром.

– Ну так съедим что-нибудь другое. – Мадемуазель де Боньер бросила на своего возлюбленного взгляд, от которого он, к своей досаде, тут же густо покраснел. – Бедняга едва на ногах держится. И по-моему, у тебя вино во фляжке тоже осталось?

Минуту спустя пирог с козлятиной и наполненный до ободка стакан мадеры были водружены на столик перед ошарашенным Алешей.

– Быстро ешь, и спать! – скомандовал Огюст.

– Это мне никак? – вытаращив глаза, спросил юноша.

– Тебе, тебе, ну а кому же еще? Давай скорее, мы ведь тоже устали!

Алексей опять отбросил с лица волосы, и открылась широкая, едва затянувшаяся рана на его лбу. Кое-где из нее еще выступали капельки крови.

«В самом деле, куда он пошел бы! – подумал Монферран, раскаиваясь в недавней своей черствости. – Он потерял столько крови, что странно, как вообще ходить еще может. Надо его взять, а может, действительно выйдет хороший слуга...»

И молодой архитектор совсем уже ласково проговорил, пододвигая пирог и мадеру к самому носу Алексея:

– Ну, ешь же, нечего так смотреть! И спи. Вон, на сундуке, как раз места хватит!

Юноша не заставил повторять еще раз. За несколько мгновений он уничтожил большой кусок пирога и осушил стакан, и по лихорадочному блеску его глаз видно было, что он и в самом деле почти умирал от голода.

– Ну и тварь этот Сухоруков! – прошептал Огюст и опять указал Алеше в сторону сундука. – А теперь спать! Понял? Спать!

Алексей перекрестился, что-то еще сказал, подняв на архитектора свои выразительные полураскосые глаза, и, встав с табурета, шмыгнув в угол, где тотчас улегся на сундуке, не смущаясь отсутствием подстилки.

Огюст раскрыл свой саквояж, вытащил оттуда походный плед и, точно прицелившись, кинул его новому слуге.

– Укройся, не то здесь холодно! – И, обращаясь к Элизе, добавил: – Плед все равно придется выстирать, он запылится в дороге...

Утром, договорившись с хозяином трактира относительно кареты, Монферран узнал у него же, где найти дешевую лавку старьевщика, и в этой лавке купил стираную, но крепкую

полотняную рубаху, холщовые штаны и суконную куртку, заштопанную в нескольких местах, но еще довольно опрятную, а затем, не без помощи старьевщика, отыскал и башмаки, очень стоптанные, однако недырявые и, кажется, подходящие по размеру. Все вместе обошлось в один рубль семьдесят копеек.

Вернувшись в трактир, Огюст увидел, что Элиза успела умыть и постричь их юного слугу, когда же тот, скинув свои лохмотья, переоделся в принесенные хозяином вещи, путешественники его не узнали. И без того привлекательное лицо его стало совсем милым, а фигура оказалась такой статной, что впору было лепить с него античного атлета.

– Вот тебе и медведь! – воскликнул Огюст. – Это уже совсем другое дело...

Но Элиза была как-то странно невесела и взволнованна и, когда Алеша вышел на лестницу, чтобы почистить хозяйские башмаки, проговорила, сдерживая слезы:

– Анри, знаешь, когда я ему мыла голову и волосы стригла, я заметила... у него вся спина в рубцах, некоторые совсем свежие, едва затянулись... Бог вознаградит тебя за то, что ты спас великомученика!

Огюст, нахмурившись, отвернулся и ответил:

– Жаль, что я не застрелил скотину... Но не с этого же было начинать карьеру в России! Слава Богу, что я вчера сгоряча не прогнал мальчишку!

После завтрака хозяин трактира сообщил постояльцам, что карета их ждет, но, когда они вышли во двор, кучер, хитрый малый с сизоватым носом давнего пьяницы, пожаловался на плохие подковы у лошадей и стал просить обождать, покуда он добудет молоток – подбить гвозди.

Огюст ничего не понял из его болтовни, но сообразил, что его морочат: он видел отлично, что подковы у лошадей новенькие. Однако спорить с кучером было бесполезно, тем более не владея языком, а лишняя задержка сулила еще один день пути, и архитектор с ужасом подумал о своем почти пустом кошельке, из которого теперь, очевидно, следовало извлечь полтинник, чтобы сунуть проклятому пройдохе и ускорить отъезд.

Но тут вдруг из дверей трактира вышел Алеша с хозяйским саквояжем в руках и, мигом поняв, что происходит, подскочил к кучеру.

– Ах ты, сукин сын, сволочная рожа! – крикнул он, ставя саквояж на землю и упирая руки в пояс новой рубахи. – Ты что тут ваньку ломаешь? Али на дураков напал? Кто ж те поверит, что новые подковы подбивать надо, да еще что не в кузне, а этак, на дворе? Деньги тянешь, гад ползучий?! А ну, залазь на козлы да вожжи бери, а не то так и с Богом катись со двора. Я ж знаю, где карету найти, найду еще и за дешевле!

– Тихо, тихо ты, разорался! – Кучер сердито подтянул кушак и нехотя стал разбирать вожжи. – Коли не боишься, что подковы соскочут в дороге, так и ладно, поехали. Садитесь себе, господа хорошие. Больно мужик у вас горласт...

– Скажи на милость! – воскликнул Монферран, когда они уселись и карета тронулась. – А от мальчика-то еще и какая польза!

– А я что тебе говорила! – Элиза с торжеством посмотрела на него и осторожно подмигнула сидевшему напротив них Алексею. – В России надо иметь русского слугу. Вот увидишь, с ним мы уже послезавтра будем в Петербурге.

Ее слова сбылись. Утром двенадцатого июня, миновав городские заставы, путешественники по размытой очередным дождем дороге въехали в столицу Российской империи.

III

Филипп Филиппович Вигель, хотя и был от природы язвительен и даже ехиден и случая пустить острое словцо в адрес ближнего своего не упускал, однако же не чуждался и благих порывов и порою рад был помочь ближнему, если это особых хлопот не доставляло, и считал поэтому, что все этой его слабостью пользуются.

По молодости лет, а было ему ровно тридцать, он порою принимал еще ловкое притворство за искренние изъявления чувств, поэтому любил, когда его благодарили лица, получившие от него ту или иную услугу, причем, в отличие от людей более солидных, ценил и одни лишь словесные излияния. Как всякий человек, обладающий незаурядной сообразительностью и более чем заурядными способностями, он хворал воспалением тщеславия, но в этой болезни не признавался никому, и себе самому в первую очередь, объясняя свое раздражение против людей одаренных и ярких внешним сходством их жизни и поведения с жизнью и поведением всех простых смертных. «Дескать, что же ты за гений, коли бранишь кухарку из-за простылых щей!» И тому подобное в том же роде.

Карьеру свою Филипп Филиппович делал осторожно и умно и верил, что сумеет многого добиться. И начало его уже радовало: в тридцать лет он стал начальником канцелярии такого солидного заведения, как только что созданный Комитет по делам строений и гидравлических работ, что и давало ему возможность порою оказывать маленьким людям великодушное покровительство и с удовольствием принимать их благодарность.

Но назойливых просителей Вигель не любил, ибо настойчивые просьбы приходилось слышать тогда, когда для исполнения требовались значительные усилия, а прилагать их неизвестно кого ради он не собирался.

– Боже, ну чего он от меня-то хочет?! – завопил Филипп Филиппович, когда один из младших чиновников канцелярии сообщил ему, заглянув в его кабинет, что его просит видеть «тот давешний французик».

– Сказать, что не примете? – осведомился чиновник, уже пятясь.

– Да нет, пускай уж заходит, он же не отстанет! – зло проговорил Вигель, мысленно прикидывая, как бы раз и навсегда спровадить визитера.

Но тот вошел такой непринужденной походкой, без тени робости или искательства посмотрел на начальника канцелярии, с таким небрежным изяществом кинул на подоконник свою шляпу, так открыто и приветливо улыбнулся, что раздражение Филиппа Филипповича вдруг сменилось любопытством. Ему захотелось выслушать «французика».

– С чем вы ко мне, мсье Монферран? – спросил он, мысленно любясь своим французским произношением.

– Увы, с тем же самым, – ответил визитер, усаживаясь на предложенный ему стул и слегка откидываясь на спинку, как человек, уставший от долгого хождения пешком. – Увы, мсье, с тем же, с чем я приходил к генералу Бетанкуру. Если в ближайшую неделю-две я не найду места, мне придется умереть с голоду или наняться куда-нибудь гувернером.

На языке у Вигеля вертелся вопрос: «И что вы предпочтете?» – однако он сдержался и сказал совсем другое:

– Но послушайте, мсье, работа вам была предоставлена, если не ошибаюсь, в полном соответствии с вашей рекомендацией. И надо сказать, мсье Бетанкур не всем оказывает подобные любезности. Наняться рисовальщиком на фарфоровый завод не так легко. А вы что надепали? Заломили такую цену, что у министра финансов волосы зашевелились на голове! Три тысячи рублей в год! Это же плата главному архитектору на большом строительстве! Само собою, вам отказали. Вы что же, не понимали, что откажут?

Монферран посмотрел на Вигеля своими ясными синими глазами и ответил, опять улыбувшись:

– Понимал. Я на то и рассчитывал.

Начальник канцелярии усмехнулся:

– Ну да. Вам не захотелось разрисовывать сервизы, будучи архитектором. А мсье Бреге в своем письме называет вас именно хорошим рисовальщиком, ибо сам не архитектор и об архитектурских ваших способностях ничего написать не может. Но ваш хитроумный ход плохо для вас закончился. Мсье Бетанкур два раза подряд давать рекомендации не станет, он ни с кем не нянчится.

– Понимаю, – просто сказал Огюст. – Потому я и пришел не к нему, а к вам.

– А чем я могу быть вам полезен? – уже без ехидства спросил Филипп Филиппович.

– Разве не вы в основном нанимаете служащих в Комитет? – спросил Монферран.

– Положим, если и я... Хотя, как вы понимаете, правом личного выбора я здесь не располагаю, я только чиновник. А вы что же, хотели бы войти в состав Комитета? И в какой сфере градостроительства желаете проявиться или, может быть, и начальствовать?

Огюст и бровью не повел в ответ на эту явную издевку и так же спокойно парировал:

– Я еще слишком мало знаю Петербург, мсье Вигель, чтобы взять на себя такую ответственность. Но я слышал, что вам требуется начальник чертежной мастерской. Может быть, на эту должность я вам подойду?

– Может быть, и подойдете, – задумчиво произнес Филипп Филиппович, все с большим интересом разглядывая молодого архитектора. – Но только на этой должности вас может утвердить один Бетанкур. Он и никто другой.

– Разумеется. Однако мне говорили, что он обычно прислушивается к вашим советам и уважает ваше мнение.

Стрела была точно направлена в цель. Бледные, рано утратившие свежесть щеки Филиппа Филипповича покрыла пунцовая краска.

– Даже если вы льстите, мсье Монферран, то красиво это делаете! И все-то вы слышали, и все-то вы знаете. Да, Бетанкур меня здесь не держал бы, если бы мне не доверял. Но у него очень строгий подход к вопросам такого рода... Правда, советы он иногда слушает, но чаще советы, исходящие не снизу, а сверху. Хм! Я могу предложить вас на должность начальника чертежной и даже обещаю вам, что сделаю это, ибо вы мне нравитесь. Не улыбайтесь, действительно нравитесь. Перед тем как вы сюда вошли, я придумывал, как бы вас спровадить, а сейчас думаю, как сделать, чтобы вы остались в Комитете. Да! Но мсье Бетанкур может отклонить мою просьбу. Генерал наш суров.

Огюст на миг опустил глаза, потом поднял их и тихо сказал:

– Но вы тогда напомните генералу, что мое имя известно его величеству императору и что у императора хранится альбом с моими проектами, который я имел честь ему преподнести два года назад в Париже. Быть может, одобрение его величества, которое он мне высказал письменно, станет тем самым «советом сверху», о котором вы сейчас говорили.

Вигель улыбнулся:

– Бетанкур знает о вашем альбоме, будьте покойны. Еще когда вы две недели назад впервые здесь появились, он велел справиться, кто вы такой, и откуда взялись, и знает ли вас кто-нибудь где-нибудь. Вы в России, мсье, здесь нельзя без этого. Однако же, что греха таить, сам император никакого интереса к вам с тех времен не проявлял, а спрашивать его мнения по поводу устройства вашего в Комитет генерал, само собою, не станет. Но я действительно напомню его светлости, что император отнесся к вам благосклонно. Словом, вы можете рассчитывать на мою поддержку, но обещать ничего точно я вам не могу. Через несколько дней зайдите ко мне.

Этой фразой господина начальника канцелярии разговор, однако, не закончился, и полчаса спустя оба молодых человека вместе вышли на улицу и зашагали по нарядной, ослепительной в лучах июньского солнца набережной Невы.

– Куда вы направляетесь, мсье? – спросил Вигель, рассчитывая узнать, где поселился столь заинтересовавший его француз.

– Мне нужно сегодня еще сделать один визит, – с прежней своей великолепной улыбкой ответил архитектор. – Но сейчас... – тут он взглянул на часы, – сейчас еще рано. Быть может, вы позволите пригласить вас отобедать?

Из предыдущих речей Огюста проницательный господин Вигель легко догадался, что с деньгами у архитектора более чем трудно и что он находится сейчас на пороге самой отчаянной нужды. Кроме того, и щегольской костюм, так ловко сидевший на ладной фигуре мсье Монферрана, был все тот же самый, тот же, что поразил чиновников Комитета две недели назад, стало быть, он был единственный.

К чести своей, Филипп Филиппович несколько секунд медлил с ответом. Но тут же утешил себя тем, что отказ может обидеть француза.

– Извольте, – поклонившись, ответил он.

И они зашли в подвернувшуюся на пути ресторацию... Заказав превосходный обед для своего нового знакомого, сам Огюст почти не притронулся к еде, объяснив это тем, что пообедал перед посещением канцелярии и что вообще старается днем есть меньше, чем утром, ибо в его роду многие были склонны к полноте. Он только пощипывал шпинат да небрежно отпивал из бокала отменный темный портвейн.

«Ей-же-ей, лихой малый! – про себя подумал Вигель, уписывая зайчатину с укропом, наслаждаясь лещом в сметане и с тоской переполненного желудка посматривая на блины с медом. – Ей-же-ей, надо уметь так держаться!.. Но этак он к концу обеда упадет в обморок!»

Однако Монферран смотрел на господина начальника канцелярии с таким очаровательным и милым весельем, так непринужденно беседовал с ним, так равнодушно взирал на пустеющие тарелки и блюда, наконец, так спокойно отодвинул и свой шпинат, не съеденный даже до половины, что у Вигеля зародились сомнения.

«Кто его знает, а может быть, и в самом деле ему есть не хочется? Эдакое самообладание для неустроенного, мягко говоря, человека... притом же совсем молодого, невероятно... А впрочем, не старше ли он, чем кажется?»

Под каким-то благовидным предлогом Филипп Филиппович в разговоре осведомился, сколько лет его возможному протеже. И услышал:

– В январе исполнилось тридцать.

Вигель чуть не поперхнулся портвейном:

– Ба! И мне столько же... Но я вам не дал сразу больше двадцати пяти.

Огюст вздохнул:

– Боюсь, что мсье Бетанкур тоже. Такое уж лицо! Вы ему скажите, пожалуйста, что я не мальчик, как он, возможно, думает.

– Скажу, скажу, – смеясь, пообещал Филипп Филиппович.

Через некоторое время молодые люди дружески распрощались, и Огюст зашагал пешком по направлению к Конюшенной площади, неподалеку от которой, в одном из самых дешевых трактиров, находилось его нынешнее пристанище.

По дороге ему, как назло, все время попадались навстречу лотошники с пирожками и торговли сладостями, вертевшие перед собою разноцветные связки пряников, и он мысленно посылал их ко всем чертям, ибо все его мужество ушло на угощение господина Вигеля, как и, увы, почти все содержимое его кошелька.

Когда он сворачивал с Невского проспекта на набережную Екатерининского канала, навстречу ему вдруг вывернулась летящая во всю мочь лошадиной четверки карета. Проезжая

часть была в этом месте довольно узка, и ее почти целиком покрывали лужи, оставшиеся после недавно прошедших обильных дождей. С ужасом увидев широкий веер брызг, окруживший карету, Монферран шарахнулся от нее в сторону и почти вплотную притиснулся к стене дома. Однако брызги достали его, и несколько капель грязи задрожали на рукаве его фрака.

– Невежа! – закричал молодой человек вслед кучеру, одновременно выхватывая из кармана платок, чтобы успеть смахнуть капли, покуда они не впитались в ткань.

Карета остановилась. Из нее высунулся и обернулся назад господин в светлом цилиндре, с благообразным и тонким лицом, окруженным, будто клубами дыма, густыми, мастерски подвитыми бакенбардами.

– В чем дело, мсье? – спросил он с тем великолепным парижским произношением, которым, как успел убедиться Огюст, отличались все русские аристократы. – Мой кучер вас задел?

– Чуть не раздавил! – воскликнул архитектор, поспешно закончив манипуляцию с платком и убирая его, чтобы не выдать истинной причины своего отчаянного возгласа. – Велите ему, мсье, лучше смотреть на дорогу, не то ваша карета кого-нибудь да сшибет!

– Извините меня! – проговорил седок и, задрав голову к козлам, что-то коротко и негромко сказал кучеру, отчего тот побледнел и начал было какую-то робкую фразу, но хозяин оборвал его еще более кратким и на сей раз просто угрожающим окриком, после чего вновь обратился к Огюсту:

– Однако же, мсье, рад, что так удачно обошлось. Не беспокойтесь, я накажу этого разиню.

И тогда Огюст вдруг вспомнил, в какой стране он находится, и понял, что кучера ожидает не вычет из жалованья и даже не сердитая хозяйская затрещина, а наказание, очевидно, совсем иное...

– Ради Бога, ваша светлость! – вскрикнул он, успев рассмотреть на дверце кареты княжеский герб. – Прошу вас, не надо никого наказывать! Ваш кучер не виноват, я сам зазевался... Он ехал, как то положено, но я задумался и вышел из-за угла прямо вам навстречу.

Седок посмотрел на архитектора с некоторым удивлением, потом улыбнулся одними кончиками губ и пожал плечами:

– Как вам будет угодно, мсье. Но за что же тогда вы обругали меня?

– Не вас, а как раз кучера, и ни за что, а от досады, что пришлось так шарахнуться... Примите мои извинения, если отнесли это на свой счет.

– Я не обижен. – Господин в цилиндре учтиво кивнул и хотел уже захлопнуть дверцу, но вдруг спросил с интересом: – А вы, простите меня, недавно приехали в Петербург?

– Меньше трех недель назад, – ответил молодой человек. – А это так видно?

– Не особенно, однако же... Вы из Парижа?

– Да.

– И вероятно, службу себе ищите?

– Ищу, – ответил Огюст, несколько уязвленный неделикатной проницательностью хозяина кареты. – Однако если ваша светлость хотели предложить мне место учителя или гувернера, то это мне не подходит. Я архитектор по образованию.

– Вот как! – поднял брови любознательный вельможа. – И у вас хорошие рекомендации?

– Плохие, мсье, не то бы я уже устроился, а не бродил пешком по петербургским лужам. Но в будущем, надеюсь, удача мне улыбнется.

– От души вам того желаю, – засмеялся хозяин кареты. – Однако если все же фортуна вас обманет и вы вздумаете поискать более скромной службы, отыщите меня, это нетрудно. Я живу на набережной Фонтанки, в особняке напротив Михайловского замка. Меня зовут князь Лобанов-Ростовский. Запомните.

– Запомню, – с трудом подавляя раздражение, Монферран вежливо поклонился. – Но как знать, князь, быть может, вам придется разыскивать меня раньше, чем мне вас? Особняка

у меня в ближайшие годы не будет, и я не знаю, где отыщу себе квартиру, однако представиться вам – теперь мой долг. С вашего позволения, Огюст де Монферран. И в ответ на вашу любезность я всегда к вашим услугам, если вам потребуется новый дом или загородная вилла.

И, еще раз откашлявшись, Огюст повернулся и зашагал дальше по набережной, стремясь поскорее миновать узкое место и выйти на площадь. Минут через пять или шесть он был уже возле трактира.

Трактирчик, маленький, деревянный, скромно, но ловко втиснувшийся между двумя каменными домами, был выстроен в два этажа. В нем было только пять номеров, и они все помещались на втором этаже, а первый был занят кухней, залой, помещениями для прислуги и комнатами хозяйки. Хозяйка, энергичная, еще не старая вдова, немка фрау Готлиб, жила в двух комнатах, вдвоем с незамужней девятнадцатилетней дочерью, которую мечтала побыстрее выдать замуж, и потому жила на небольшой пенсией, а доходы от трактира откладывала на приданое Лоттхен. Комнаты в трактире сдавались за небольшую плату, не то на них едва ли нашлось бы много охотников, однако хитрая фрау умела выудить из постояльцев деньги, предлагая им множество мелких услуг: стирку их белья, приготовление обеда, либо из хозяйской снеди, либо из той, что они сами себе покупали, отправку писем и все тому подобное, не говоря уже о ее собственных улыбках, реверансах, пожеланиях доброго утра и приятной ночи.

Войдя в трактир, Огюст постарался поскорее прошмыгнуть мимо залы, из которой доносились всевозможные кухонные запахи, но едва он поднялся на второй этаж, как ему ударил в лицо аромат куриного бульона, и он тихо чертыхнулся.

«Это проклятый чиновник из второго номера заказал себе курицу! – в сердцах подумал молодой архитектор. – Лентяй пузатый! Нет чтобы сойти вниз и пообедать в зале... В номер заказывает! Ишь ты, герцог! А что, интересно, ухитрился купить Алексей на оставленные ему десять копеек? И обедала ли Элиза или ждет меня?»

Он отворил дверь своего номера, и куриный запах буквально оглушил его.

– Что это значит?! – воскликнул он, от удивления прирастая к порогу.

В крохотной клетушке-прихожей, превращенной за неимением лучшего в привратничью, на низкой лавке-лежанке сидел Алексей и старательно начищал вторую (и последнюю) пару хозяйских башмаков. Увидав Монферрана, он по привычке хотел было встать, но, заметив уже знакомое хозяйское движение, разрешающее остаться на месте, только чуть-чуть приподнялся и склонил голову в поклоне, отчего-то прикрывая ладонью левую щеку.

– Здравствуйте, мсье, – проговорил он по-французски, уже почти ничего не напутав в произношении.

Они с Огюстом вот уже три недели старательно учили друг друга своим языкам, и каждый обнаруживал успехи, тем более что обоим просто необходимо было выучиться побыстрее. Алексей оказался необыкновенно способен к учению. Он успел не только во французском языке, но и в русском: будучи совершенно неграмотным, он, едва оказавшись в Петербурге, Бог весть с чьей помощью в считанные дни выучил буквы русского алфавита. Он уже начал разбирать надписи на лавках и трактирах и пытался читать афиши на столбах. При этом у него был великолепный характер: мягкий и ласковый, он никогда не бывал назойлив, в нем не было даже тени раболепия, что казалось невероятным при том, какую школу юноша прошел у прежнего своего хозяина.

– Здравствуй, Алеша! – старательно выговорил Огюст давно выученное русское приветствие. – А что этот здесь так?..

И он показал себе на нос.

– Нос это, ваша милость! – с готовностью ответил слуга.

– Сам ты есть нос! Что такой вот это?

Он кивнул на дверь в комнату. Алексей развел руками:

– Жен се па³⁴, про что вы спрашиваете, мсье!

В дверях комнаты раздался смех, и появилась Элиза. Она не вышла в прихожую, потому что больше двух человек там не помещались, и Огюст сам поспешно шагнул ей навстречу.

– Откуда у нас такой запах? – спросил он, целуя Элизу, но через ее плечо заглядывая голодным взором в комнату, где на столе, покрытом простенькой скатертью, белела суповая миска.

Элиза взяла его за руку, втащила в комнату и усадила за стол:

– Ешь скорее, пока не остыло. Не знаю, что и думать, милый... Это ведь уже второй раз. То неделю назад откуда-то появилось мясо, когда денег совсем не оставалось. Потом я продала кольцо. Неделю деньги были. Сегодня кончились. Ну, завтра я собираюсь продать медальон...

– А без этого никак нельзя? – огорченно спросил Огюст.

– Никак, Анри, даже если ты вот-вот найдешь место. Но это все пустяки! Еще есть браслет и цепочка... Дело не в этом. Сегодня у Алеши было десять копеек, и вдруг он ухитрился заказать фрау Готлиб курицу, да еще вон пряников каких-то принес... И еще... – Она запнулась.

– Ну? – спросил Огюст, подвигая к себе тарелку, которую Элиза наполнила золотистым бульоном с аппетитной домашней лапшой.

– В тот день, когда появилось мясо, – прошептала Элиза, – Алексей пришел с разбитой рукой: прямо все пальцы были разбиты. Он прятал, да я-то увидела. А сегодня ты не заметил? На левой щеке синяк.

– Вот еще шутки! – растерянно и почти испуганно проговорил Монферран. – И что это все значит, а? Не таскает же он где-то этих кур?

– Что ты! – возмутилась Элиза. – Украсть Алеша не способен. Но это очень странно. Ты спроси у него. Может, тебе он скажет.

– Может, и скажет, да я не пойму, – задумчиво ответил Огюст. – Расспрошу-ка я хозяйку. По-моему, она знает все... Очень осведомленная особа. О Боже, какая вкусная курица!..

Фрау Готлиб в тот же вечер с легкостью разрешила сомнения своего постояльца. Она кое-как говорила по-французски и, смешно коверкая слова, охотно стала рассказывать:

– Все отшень просто, уважаемый! Зтесь рятom есть конюшень. Зтесь живет много-много исвосчик. О, русский исвосчик отшень большой трачун! Я много раз видель, как они тралься на спор. На теньги, уващаемый! Фаш слюга отшень смелый мальшик: он всял и поспориль с три фсрослый мушик, что мошет их положил на лопатки. И фсех, фсех полошили! И выиграль у них теньги, и покупаль у меня курис, а я готовиль этот курис. Вот так. Этот спор мне рассказаль мой творник, он смотрель, как они тралься.

Вернувшись в номер, Огюст рассказал Элизе все услышанное от хозяйки, она, узнав всю историю, едва не расплакалась, однако сдержалась. Вскоре явился Алексей, спускавшийся во двор за водою для умывальника, и Огюст, подойдя к нему, указал пальцем на его синяк, который юноша на сей раз не успел прикрыть, и мягко, но твердо проговорил:

– Больше так нет делай! Хорошо?

Слуга удивленно заморгал:

– Это ж откуда вы знаете, барин?

– Нет «барин», – рассердился Огюст. – Су-хо-ру-ков твой есть барин. Говори «мсье», или как это здесь? А! «Сударь»! И вот это не надо... Я прошу тебя...

Он хотел сказать «приказываю», ибо выучил уже и это слово, но оно показалось ему ужасно длинным и неудобным, и он сказал «прошу» и при этом осторожно и ласково тронул рукою Алешин синяк.

³⁴ Je ne sais pas. – Я не знаю (фр.).

Юноша спокойно взял его руку и, поднеся к губам, поцеловал так, как целуют ее отцу или матери, а не хозяину, и в глазах его, обращенных на Огюста, выразительных, полудетских-полуиконных, чуть раскосых глазах, было целое море чувств человеческих.

– Простите, сударь! – Алексей улыбнулся. – Не сердчайте уж... На десять-то копеек какой уж обед? А вас ведь двое... Коли не хотите, так я вперед не стану. Буду делать все, как скажете. А вы-то как? «Травай»-то³⁵ себе сыскали али нет?

Огюст усмехнулся, услышав такое смешение языков (это бывало часто и у него, и у Алеши), и в ответ беспомощно развел руками:

– Нет знаю, Алеша. Как это? Можно быть, да, а можно быть, нет...

Вигель сдержал свое слово: на другой же день он обратился к генералу Бетанкуру с надлежащей просьбой и употребил все свое красноречие, для того чтобы добиться ее исполнения.

Когда четыре дня спустя Монферран снова появился в канцелярии Комитета по делам строений и гидравлических работ, Филипп Филиппович встретил его очень радушно и, усадив, без предисловий изложил суть дела:

– Вот что я скажу вам, мсье: генерал сначала было не хотел меня слушать... его рассердила ваша уловка с фарфоровым заводом, ибо смысл ее он прекрасно понял. Однако я его понемногу убедил, что архитектору работать рисовальщиком и в самом деле обидно, и склонил к мысли взять вас в чертежную. Но только он заявил мне, что для должности начальника чертежной вы слишком молоды и у вас нет опыта, и хотел было определить вас просто чертежником, но я опять стал настаивать, и Бетанкур наконец уступил и сказал: «Хорошо, старшим чертежником, но только уж никак не начальником!» Вот вам его последнее слово, и очередь за вами. Что вы на это ответите?

– Разумеется, отвечу «да»! – произнес Огюст, у которого словно свалилась с души каменная гора. – Да, и большое вам спасибо! Но я докажу вам, что умею благодарить не только словами.

– Верю, верю, – улыбнулся Филипп Филиппович. – Впрочем, мне кажется, мы с вами станем приятелями, и у нас не раз будет возможность оказывать друг другу услуги. Теперь еще вот: жалованье вам пока не назначается, но вы будете получать компенсацию, она примерно равна годовому жалованью, около двух тысяч в год, даже чуть больше. Согласитесь, для начала неплохо... И, кроме того, мы вам предоставим, если желаете, казенную квартиру, недорогую и удобную, неподалеку от места службы. Вы довольны?

– Мало сказать доволен! Просто спасен! – вырвалось у Огюста.

И он так крепко пожал руку чиновника, что у Филиппа Филипповича потом некоторое время ныли суставы.

³⁵ Le travail – работа (фр.).

IV

Новый порыв ветра. Новое дикое стадо волн понеслось навстречу шхуне, и она, зарывшись носом в пену, на миг высоко вскинула корму, а потом, рванувшись, выскользнула наверх и запрыгала с одного пенного хребта на другой.

Вода прокатилась по палубе, схлынула, но фонтаны брызг опять взметнулись с обоих бортов и посыпались на мокрые палубные доски.

Алексей, прикрыв лицо углом воротника, потихоньку выругался, безнадежно посмотрел на взлохмаченный залив и повернулся к хозяину:

– Август Августович, ну, ей-же-ей, шли бы все-таки в каюту. Насквозь вымокнете. Простудитесь!

Огюст, не отрываясь от мачты, к которой прижался всей спиной и затылком, лишь чуть повернул голову и проговорил сквозь зубы:

– Отстань, ради Бога! В каюте не могу... Там еще хуже...

– Говорил же вам, едем берегом! – с отчаянием воскликнул Алеша. – С вами не сладишь, что с младенцем! Не остров ведь это, можно и по дороге проехать.

– Поди ты... – Архитектор резко повернулся к слуге. – Дороги развезло, дожди идут уже месяц... Неделю бы добирались! Нет, что же делать? А ты знаешь, Алеша, у знаменитого адмирала Нельсона тоже была морская болезнь.

– У Нельсона? – Алексей присвистнул от удивления. – Это у которого ни руки, ни глаза? Еще и болезнь морская? Ну уж и характер у него был, стало быть! Вот чисто у вас, Август Августович.

Августом Августовичем Монферрана записали в русском паспорте. Отчество по здешним правилам было необходимо, а давали его приезжим как придется, редко пытаясь исходить из действительного имени родителя, ибо оно не всегда для отчества подходило. И если из имени «Огюст» у чиновника паспортного стола очень легко получился «Август», то приделать окончание «ович» или же «евич» к имени «Бенуа» сей господин уж никак не сумел и, ничтоже сумняшеся, образовал отчество от того же имени. Получился Август Августович. Огюсту такое прозвище понравилось, оно звучало непривычно: солидно и забавно. Алеша же просто пришел от него в восторг.

В это время от носа шхуны, широко расставляя ноги, будто и не замечая качки, к ним подошел капитан, высокий плотный детина, весь завернутый в просмоленный брезент, с неугасающей трубкой, вросшей в светлые моржовые усы.

– Видали, сударь, как шалит нынче Балтика? – спросил он утробным басом, не без тайного ехидства глядя на белое, как известь, лицо своего пассажира. – И охота же вам ездить в такую погоду в этот Богом проклятый Пютерлакс? И еще пристанем ли при такой-то волне? Там причал ни к черту, да и бухта неудобная. Не пришлось бы назад заворачивать...

Он ожидал увидеть испуг на лице архитектора, но испугался только Алексей, что же до Монферрана, то сквозь его бледность тут же негодуя вспыхнул румянец.

– Вы получали уже от меня довольно, капитан, чтобы и причал, и бухта были вам удобны, – резко проговорил архитектор. – Уезжая из Петербурга, у нас был разговор об этом чертов погода! Или причаливайте, или отдавайте обратно все, что получали!

– Да что вы, сударь, право?! – Капитан выпустил из усов фонтан дыма и усмехнулся. – Уж с вами и не пошутить. Будьте покойны, еще полчаса, и покажется ваш Пютерлакс, а там и причалим, как по маслицу пройдем.

И он, сохраняя достоинство, той же поступью зашагал дальше.

– Негодяй! – прохрипел Огюст, у которого на вспышку гнева ушли едва ли не все силы. – Тебе бы эту болезнь, ты тогда пошутил бы... «Заворачивать»! Я тебе заворачиваю! Не на кого напал!

– Не на того, Август Августович! – терпеливо поправил Алеша.

– О, оставь меня в покое! – уже по-французски взмолился Монферран. – Не до грамматики мне сейчас и не до синтаксиса, мой милый! Полчаса осталось? Нет, через полчаса берег только покажется! Сколько же еще выносить это, а?

– Надо было берегом ехать! – упрямо проворчал Алеша.

Они ехали в Пютерлакс уже в восьмой или в девятый раз. Невзрачное финское местечко под городом Выборгом неожиданно заняло в жизни Монферрана совсем особенное место. Его странное тусклое название обрело для архитектора необычайный смысл...

В карьерах Пютерлакса добывали великолепный коричнево-красный гранит, прочный и красивый. Его называли «рапакиви». Из него высекали пьедесталы и обелиски, им были во многих местах отделаны набережные Невы в державном Санкт-Петербурге. Из него Огюст замыслил изготовить невиданные доныне колонны... Колонны собора.

Шел тысяча восемьсот двадцатый год. Четвертый год его жизни в Петербурге. Четвертый ли? Ему то казалось, что он живет в России уже лет двадцать, то думалось, что он приехал месяц-два назад. Весь сонм событий, произошедших с ним в Петербурге, пронесся как ураган, и лишь одно-единственное, главное, в которое он и сейчас еще едва верил, могло занимать его мысли, его ум, его душу.

Он начал строить собор.

Теперь ему иногда казалось, что он предчувствовал это, втайне догадывался, что на него обрушится это неслыханное счастье. Но на самом деле все было не так. Начиная свою незаметную, трудную жизнь в столице России, он надеялся на успех, думал, что поднимется из безвестности, но о таком головокружительном взлете не мечтал – у него не хватило бы фантазии придумать такое...

На другой день после обретения долгожданного места в чертежной Монферран переехал на новую квартиру, на Владимирский проспект.

Квартира, отведенная ему, помещалась на втором этаже недавно построенного трехэтажного дома и состояла из трех комнат: довольно просторной гостиной и смежных с ней кабинета и маленькой спальни. Большой широкий коридор отделял комнаты от кухни и скромной привратничкой, которая круглым окошком выходила не на двор и не на улицу, а на лестницу.

Сразу же начались всевозможные хлопоты, и пришлось наделать уйму долгов: квартира оказалась почти совершенно без мебели, и ее надо было спешно покупать, затем надо было нанять кухарку, приобрести столовую и кухонную посуду.

Кроме всех прочих ближайших расходов, Огюст счел необходимым сразу же подумать о деликатном и вместе с тем приличном подарке для своего нежданного благодетеля Филиппа Филипповича, ибо на его поддержку надеялся и в будущем. Кроме того, Алексей подсказал хозяину мысль о том, что необходимо заранее купить теплые осенние и зимние вещи, так как летом это обойдется дешевле, а лето в этих местах коротко...

Траты оказались солидными, но Монферран теперь не огорчился, надеясь на свой заработок и на свое умение обходиться малым. «Как-нибудь сэконоблю», – думал он.

В чертежной Комитета работало много опытных чертежников, и на молодого француза вначале посматривали удивленно и косо, однако он исполнял свою работу уверенно, со знанием дела, он был талантлив, это заметили все. Вскоре, к радости Огюста, это заметил и сам генерал Бетанкур.

Генерал все чаще вызывал к себе Монферрана, давал ему особо важные работы, порою спрашивал его совета. Инженеру поручали проекты самых различных построек, и он, занимаясь их техническим решением, архитектурную разработку нередко поручал Монферрану.

Впрочем, восторгаться Бетанкур не спешил. Он вообще не умел восторгаться. Его могучий блистательный ум, его тонкая, суровая натура не выносили восторгов. Даже талант он приветствовал лишь сдержанным уважением. Он сам был талантлив и знал это, как знал и цену слишком быстрому взлетам. Он верил только делам, и не одному, а многим.

Но, узнавая Монферрана все больше, председатель Комитета стал ему доверять. Доверять не только в том, что относилось к работе. Порою разговоры их стали касаться тем, далеких от строительства, Бетанкур начал расспрашивать молодого приезжего о прежней его жизни и иногда, как бы невзначай, говорил ему (правда, совсем немного) и о себе. И они, сближаясь, начинали нравиться друг другу.

Уже в декабре, проработав в чертежной немногим более пяти месяцев, Монферран был назначен ее начальником. Теперь он отвечал за все разработки чертежной, сам проверял всю работу чертежников, которым сразу дал больше независимости, увеличив при том и спрос за упущения...

Проходили дни. В свободное время Огюст много бродил по городу, иногда один, иногда вдвоем с Элизой. Незнакомый город все больше волновал и притягивал архитектора.

В первые дни Петербург показался ему слишком безукоризненным, правильным, слишком распланированным, словно человек, в поведении которого было все заранее обусловлено и продумано. В геометрической стройности улиц Огюсту померещилась холодность, а высокое бледное небо, часто нависающее сизыми тучами, темная вода каналов и рек, скудость зелени и обилие гранита делали лицо города суровым и даже, как вначале подумал молодой архитектор, жестким.

Но Петербург был скрытен и сдержан, как истинный аристократ, он не открывался никому сразу и весь, в нем было слишком много неожиданного и неповторимого, и Огюст вскоре понял, что надо вначале суметь понравиться городу, чтобы он захотел в ответ понравиться тебе. И он смотрел и смотрел, читал и читал книгу – летопись Петербурга на таком знакомом ему языке архитектуры и начинал понимать суть его правильности, ибо его создавали не столетия, лепили не прихоти баронов и князей, меняли не выдумки эпох; нет – его создала мысль человека, широким шагом вступившего в новый век, решившегося столкнуть оседающую глыбу прошедших веков, не боясь, что она сметет и раздавит его; и мысль этого человека, могучая и созидательная, создала столицу народа, едва не утратившего себя среди рвущих его на части иноземцев, веками пытавшихся навязать ему свою волю и свои законы...

И вот рука воплощающая, не знающая сомнения, бросила перчатку в лицо надменной Европы. И эта же рука начертала геометрический рисунок улиц столицы-дворца, столицы-крепости. Петербург был рожден из пены морской, чтобы и заслонить Россию от врагов, и с великосветской улыбкой представить ее миру. И в этой новизне, мощи, уверенности и изысканности одновременно, в этом скромном, едва уловимом изяществе город был воистину прекрасен.

Все это молодой французский архитектор скорее почувствовал, чем понял, меряя город шагами, осязая взглядом, любуясь им и чувствуя, что Петербург захватывает его, впитывает в себя, властно, не спрашивая его согласия, делает своим.

Не то ли случилось здесь со всеми его предшественниками, с теми приглашенными или просто приехавшими из разных стран Европы зодчими, которые построили большинство этих зданий, оформили многие улицы и набережные? Как видно, не они творили лицо Петербурга, а сначала он вошел в их душу, он приобщил их, научил видеть мир и себя по-новому, а уже потом вдохновлял и учил строить. Их, которым казалось, что они давно уже умеют это... И не случайно город, более чем наполовину выстроенный по проектам итальянцев, французов, немцев, почти ничем не напоминал Монферрану ни Италию, ни Францию, ни Германию. Этот юный город, которому было ныне чуть больше ста лет, имел свое лицо, свое неповторимое «я».

Во время одной из прогулок Огюст и Элиза оказались на Сенатской площади, которую знали прежде, но как-то особенно не всматривались в нее – обоим она казалась пустой и уны-

лой... Только памятник Петру на гранитной скале был прекрасен. Монферрана он изумлял и тревожил, потому что в этом бронзовом всаднике он узнал свое далекое видение: ту фантастическую фигуру, которая явилась ему, раненому, то ли в бреду, то ли во сне. Была это она или нет – не имело значения, ибо он узнал ее.

Громадную, совершенно неоформленную площадь за всадником украшало или, вернее, портило неуклюжее здание церкви с красивым рисунком стен и с неожиданно куцей колокольной и единственным куполом, торчащим посреди крыши на узком барабане, как крохотная головка на тонкой шее.

– Как некрасиво! – воскликнула Элиза.

– Я знаю, что это такое, – сказал, подумав, Монферран. – Это храм Святого Исаакия Далматского. Мне Вигель о нем рассказывал. Сначала вот здесь, где мы стоим, была церковь Святого Исаакия, которую лет девяносто назад построил итальянец Маттарнови. Ее разрушила гроза – молния ударила в самую колокольную. Церковь разобрали. Потом на этом месте императрица Екатерина Вторая поставила памятник, который создали Фальконе и его ученица Мари Калло. Ну а за ним Екатерина решила поставить новый собор Святого Исаакия и сделать его главным петербургским храмом. Я видел первоначальный проект в гравюрах. Это было великолепное творение великого Ринальди, и, если бы его построили таким, каким он был задуман, ничего лучше и желать нельзя было бы.

– И кто же его так изуродовал? – огорченно глядя на кучую колокольную, спросила Элиза.

– Вообще-то, не кто, а что. Целый поток недоразумений. Такие церкви строятся долго. Ну вот, строили-строили, а за это время Екатерина умерла, воцарился ее сын император Павел, который матушку свою ненавидел, как и все, что она любила, ну и выжил Ринальди из Петербурга. А достроить церковь поручил архитектору Бренна, однако же велел достроить чуть ли не за год, тогда как стояли только одни стены. И мрамора не хватило, и золота для позолоты куполов не дали, ну и остались от Ринальди одни стены, как видишь, красивые, да только что в том толку? Испортили площадь, вот и все.

– Так надо же исправить! – решительно заявила Элиза.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.